

Детство в европейских автобиографиях

От Античности
до Нового времени



А л е т е й я

Коллектив авторов

**Детство в европейских
автобиографиях: от Античности
до Нового времени. Антология**

«Алетейя»

Коллектив авторов

Детство в европейских автобиографиях: от Античности до Нового времени. Антология / Коллектив авторов — «Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-32-4

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века. Издание адресовано в первую очередь студентам и преподавателям гуманитарных специальностей (историкам, антропологам, психологам, педагогам, филологам, культурологам) и предназначена для использования в преподавании соответствующих дисциплин. Оно также рассчитано на аудиторию специалистов по истории детства, истории педагогики, истории повседневности. Однако вошедшие в книгу увлекательные, порой захватывающие, рассказы, несомненно, привлекут также интерес самого широкого круга читателей.

ISBN 978-5-907189-32-4

© Коллектив авторов

© Алетейя

Содержание

От составителей	6
Рассказы о своем детстве: историческая перспектива	8
1. Знаем ли мы, что такое детство и ребенок?	9
2. Как вспоминали о детстве люди разных эпох?	14
3. Изучение воспоминаний о детстве	23
Часть 1	26
Воспоминания о детстве в Европе I–XIII веков	26
Публий Овидий Назон	34
Скорбные элегии	34
Лукиан из Самосаты	37
Сновидение, или жизнь Лукиана	37
Григорий Чудотворец	41
Благодарственная речь Оригену	41
Либаний	50
Жизнь, или о собственной доле	50
Аврелий Августин	52
Исповедь	53
Павлин из Пеллы	61
Евхаристик Господу Богу в виде вседневной моей повести	61
Максимиан	66
Элегия III	66
Дорофей из Газы	69
Поучение десятое	69
Отлох Санкт-Эммерамский	71
Из «книжицы о духовном учении»	71
Из «книги об искушениях некоего клирика»	72
Гвиберт Ножанский	73
О своей жизни	73
Ордерик Виталий	79
Тринадцать книг церковной истории, на три части разделенные	79
Гиральд Камбрийский	82
О событиях моей истории	83
Никифор Влеммид	85
Избранные места из автобиографии монаха и пресвитера Н икифора, ктитора 152	85
Петр из Мурроне (Целестин V)	87
Жизнеописание	88
Часть 2	90
Воспоминания о детстве в эпоху Возрождения, Реформации и Контрреформации	90
Франческо Петрарка	98
Письмо к потомкам	98
Гвидо Сетте 181, архиепископу генуэзскому, о том, как меняются времена	101
Димитрий Кидонис	104

Апология I	104
Джованни Конверсини да Равенна	106
Счет жизни	107
Иоганн Бутцбах	112
Одепорикон	112
Фома (Томас) Платтер	114
Автобиография	114
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Детство в европейских автобиографиях: от Античности до Нового времени. Антология

От составителей

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой сборник фрагментов из европейских автобиографических сочинений III – начала XIX в., в которых их авторы рассказывают о своем детстве. Эти рассказы поражают разнообразием тематики и сюжетов – что, впрочем, не удивительно, поскольку это истории людей, которые жили в разные эпохи, в разных странах, принадлежали к разным социальным группам, говорили на разных языках. Удивительно, пожалуй, то, что все они – за редкими исключениями – далеки от изображения детства счастливым периодом своей жизни. Их истории полны рассказами о бремени учения и строгостях воспитания, жестокостях взрослых, несправедливостях и обидах, семейных неурядицах, тяготах войн, болезнях. Это – другие образы детства, во многом не похожие на те, которые мы встречаем в современных автобиографиях, непривычные для нас сегодняшних.

Читатели смогут также убедиться, что эти образы детства не только различны и непохожи на современные, но и изменчивы во времени, причем эти изменения относятся как к их содержанию, так и форме: из кратких и фактологических «зачинов» в историях о своей жизни в поздней Античности и Средневековье они превращаются в обособленные многостраничные рассказы о детских годах в Новое время. Важно подчеркнуть, что во всех случаях эти рассказы представляют особую ценность для гуманитариев – и для тех, кто специально занимается историей детства, и для тех, кто разрабатывает отдельные аспекты общей темы «человек в истории», в последние два десятилетия ставшей одной из магистральных в российском гуманитарном знании. Эта ценность, безусловно, заключена в самой природе автобиографизма: рассказы наших авторов о самих себе содержат уникальные свидетельства, которые мы не найдем в других типах исторических документов.

Все включенные в книгу тексты снабжены биографическими справками об авторах и подробно прокомментированы. Общая вводная статья детально рассматривает проблематику изучения темы. Вступительные статьи к разделам и заключение очерчивают контекст «рассказов о своем детстве» для разных эпох. Научный аппарат издания будет полезен всем, кто захочет более обстоятельно познакомиться с различными аспектами истории отображения детства в автобиографических рассказах.

Хочется надеяться, что издание, в которое вошли эти разнообразные, порой захватывающие свидетельства, будет интересно не только специалистам – ведь каждый из тех, кто его откроет, когда-то был ребенком, каждый будет невольно сравнивать свои собственные детские переживания с теми, о которых рассказали Августин, Челлини, Монтень, Руссо и еще десятки других авторов.

Книга в значительной мере является результатом многолетней работы большого коллектива исследователей и переводчиков под руководством В. Г. Безрогова по выявлению, подбору, переводу и комментированию рассказов европейцев о своем детстве¹.

¹ Часть вошедших в настоящее издание текстов публиковалась ранее в сборниках: *Память детства: Западноевропейские воспоминания о детстве от поздней Античности до раннего Нового времени (III–XVI вв.)* / Под ред. В. Г. Безрогова. М.: Издательство УРАО, 2001; *Память детства: Западноевропейские воспоминания о детстве эпохи рационализма и Просвещения (XVII–XVIII вв.)* / Под ред. В. Г. Безрогова. М.: УРАО, 2001; Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии Университета РАО. Выпуск 4: История педагогики и педагогическая антропология / Отв. ред. Г. Б. Корнетов.

*В. Г. Безрогов, д. п. н., член-корреспондент РАО
(Институт стратегии развития образования РАО)
Ю. П. Зарецкий, д. и. н. (НИУ «Высшая школа экономики»)
О. Е. Кошелева, д. и. н. (Институт всеобщей истории РАН)*

Рассказы о своем детстве: историческая перспектива

Современные автобиографические повествования о детстве являются результатом долгого пути формирования особого способа размышлять о себе, устно рассказывать о начале своей внешней и внутренней жизни, говорить о нем и в письменном тексте, по большей части предназначенном для чтения другими. Период детства, без сомнения, оказался для европейцев самой трудноосваиваемой частью автобиографического рассказа: он долгое время вообще отсутствовал в повествованиях о себе или занимал в них исключительно скромное место. И лишь в последние три столетия тема детства автобиографа заявила о себе в полный голос.

Задача этого издания – показать через тексты автобиографических воспоминаний историческую динамику ранних взглядов на детство, изменение способов его осмысления и репрезентации, наконец, рождение в европейской культуре особого дискурса «автобиографии детства». Рассматриваемый период III–XVIII вв. характеризуется тем, что, во-первых, относящиеся к нему «рассказы о себе» еще довольно далеки от привычного для сегодняшнего дня жанра «автобиографии», а, во-вторых, детство представлено в них в весьма лаконичной форме. Однако из этого не следует, что они должны быть оставлены в стороне: эти тексты особо интересны своей уникальностью и неповторимостью. Без них история детства была бы не полной, лишенной своих истоков и своего личностного измерения².

Во все времена люди так или иначе рассказывали о себе. Но чтобы понять оставленные ими рассказы, нам важно поставить текст автобиографического источника в его исторический и культурологический контекст, реконструировать цели и задачи автора, проанализировать то, о чем он говорит и о чем умалчивает, каким словарем пользуется. Полноценная работа с текстом воспоминаний, на наш взгляд, требует также предварительного ознакомления с рядом проблем, которыми заняты современные исследователи детства. Рассмотрим вкратце: 1) концептуальное осмысление понятия «детство» и историю его изучения; 2) историю развития автобиографических текстов о детстве внутри автобиографического жанра; 3) изучение автобиографических свидетельств в современной исследовательской литературе.

² Необходимость «персональных историй» для изучения воспитательных традиций и механизмов их функционирования в отдаленные эпохи (прежде всего в древности) была отмечена в 1985 г. Арнальдо Момильяно (*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*. 1985. Serie III. vol. XV. fasc. 2.).

1. Знаем ли мы, что такое детство и ребенок?

Есть в мире много вещей, о которых в силу их обыденности обычно не принято задумываться. Они для людей как бы разумеются сами собой. В число таких понятий попадают «детство» и «ребенок». Каждый человек, поскольку он был ребенком, уверен в том, что легко ответит на вопросы «Что такое ребенок?», «Что есть детство?»

Однозначность и «всем-понятность», однако, исчезает, как только мы действительно начинаем задаваться этим вопросом и задавать его другим. Оказывается, что на вопрос о сущности ребенка и детства ответить не так легко даже в беседе с современниками.

Если мы скажем, что ребенок – это «недоразвитый взрослый», то подвергнемся критике со стороны гуманистической педагогики, признающей за каждым возрастным этапом самозначимость и самоценность. Если мы скажем, что ребенок не хуже взрослого, равноценен ему, то нас не поймут представители многих традиционных теорий и взглядов на ребенка. Если мы восхитимся чистотой и невинностью ребенка и будем порицать взрослый мир за то, что он его «портит», то вызовем резонные замечания психоаналитиков. Если посмотрим на ребенка как на клубок разнообразных пороков и слабостей, подлежащих искоренению, то будем обвинены в авторитарности и насилии. Если скажем, что из ребенка можно сформировать любого человека – по характеру, моральным и умственным качествам, – то будем раскритикованы генетиками и конституциональными антропологами. Если утвердимся в том, что ребенок есть та «промокашка», на которой с его взрослением проявляется заложенный «от природы» рисунок, то наши руки опустятся, и мы замрем перед молодым поколением как кролик перед удавом.

Если мы скажем, что детство прекрасный и удивительный возраст, то будем обвинены в наивности. Если будем утверждать, что детство – самый трудный и печальный период жизни, то подвергнемся критике тех читателей, кто сохранил о детстве самые лучшие воспоминания. Если скажем, что детство предназначено для приобретения навыков будущего взрослого существования, то нам ответят, что нужно дать детям побыть детьми и нельзя отнимать у них это лучшее время жизни. Если постановим, что детство – это время для безграничного самовыражения, то нас раскритикуют за то, что мы призываем растить эгоистов и неучей. Если мы в отчаянии попытаемся определить хотя бы хронологическую границу, за которой кончается детство, то даже и этого не сможем сделать, поскольку встретим детей, серьезных не по возрасту, и взрослых, так и оставшихся детьми.

Получается, что понятия «ребенок» и «детство» имеют многогранное и противоречивое осмысление. В каждом обществе, социальном слое, профессии, в каждую эпоху и в каждой культуре они имеют свои особенности³. Каковы же они? Исследования последних десятилетий по истории детства дают разнообразные ответы на этот вопрос. Французскому исследователю Филиппу Арьесу мы обязаны открытием в 1960 г. того факта, что феномен детства имеет свою историю. Особенно впечатлила его читателей мысль о том, что в европейском обществе взрослые достаточно поздно стали осознавать детство как особый период жизни человека, которому следует уделять специальное внимание, – приблизительно с XVII в.⁴ До этого периода (с которого стала понижаться детская смертность, стала развиваться школьная система, формироваться новый стиль частной жизни, в которой ребенок приобретал особое ценностное зна-

³ Разные науки, занимающиеся детьми и детством, также смотрят на предмет своего изучения по-разному. В 1980-е – начале 1990-х годов была совершена, например, интересная попытка соединить в одном исследовании взгляды социальных психологов и историков детства. См.: *Children in time and place: developmental and historical insights*. Ed. by G. H. Elder, J. Modell, R. D. Parke. Cambridge, 1993.

⁴ Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. Некоторые авторы начало такого процесса переосмысления отодвигают в XVI в. См.: *Wooden W. W. The topos of childhood in Marian England // The journal of Medieval and Renaissance studies*, 12, 1982, 179–194.

чение и пр.) эмоциональное отношение взрослых к детям можно скорее определить, по мысли Арьеса, как равнодушное. В Средние века и даже в начале Нового времени, считал Арьес, годы, следующие за младенчеством, люди не рассматривали как время жизни, качественно отличное от взрослости, как стадию жизни со своими собственными специфическими нуждами, интересами и возможностями⁵. Дети с семи лет были лишь младшими членами взрослого сообщества. Они принимали самостоятельное участие во взрослом труде и досуге, носили ту же одежду, что и взрослые, ели такую же пищу. От детей у взрослых того времени не было секретов. Арьес относился к этому периоду «небрежения» детьми достаточно положительно, считая, что последующие эпохи, начиная с XVII в., когда постепенно произошло «открытие детства», внесли в детский мир больше стеснения и боли, нежели свободы и радости, поскольку взрослые отгородились от детей и ограничили их жизнь рамками детской и жестких правил поведения вне ее.

Одни исследователи 1970-х годов взяли на вооружение идеи Арьеса и, изменив акценты, обнаружили большое количество фактов, подтверждающих не только равнодушное, но и чрезвычайно жестокое отношение к детям в античном и средневековом обществе и улучшение статуса детства в эпоху Просвещения; другие – нашли немало контраргументов, показывающих, что и в период Античности, Средневековья и раннего Нового времени встречались любящие родители, а взрослые в целом имели достаточно четкие и определенные понятия о детях и их воспитании⁶. Но и в само понятие любви и заботы о детях в разные эпохи несомненно вкладывалось разное содержание, отличное от наших современных представлений. Американская исследовательница К. Калверт по этому поводу пишет следующее: «Найдется достаточно свидетельств того, что всегда были разные родители: любящие, небрежные и жестокие к детям родители. Изменялось ли с течением времени соотношение этих трех групп? Ответ зависит от того, выражает ли исследователь современный взгляд на то, какое поведение считать правильным и соответствующим интересам ребенка, или руководствуется представлениями изучаемого периода. Природа ребенка определялась по-разному в разные эпохи. То, что считалось хорошим или плохим для детей в одно время, рассматривалось совершенно в ином свете в другое, и любящие родители одной эпохи могли вести себя диаметрально противоположным образом по отношению к практике, принятой в другие времена.

Проблема, таким образом, не в решении вопроса, любили ли родители своих детей, а в том, как они вели себя по отношению к детям, которых они любили. Определенный образец родительского отношения к детям не предполагает, что это единственный способ поведения. Концепция детства поразительно менялась во времени, вместе с изменениями в социальной структуре и культурных установках, с технологическими новшествами, которые заставляли родителей отрицать образцы воспитания детей, принятые предшествующим поколением. Ход этих изменений был не столько продвижением от традиционного воспитания к современному (если понимать под этим переход от плохого к хорошему), сколько последовательной сменой альтернативных подходов. Каждая последующая стадия в истории детства имела свои положи-

⁵ Традиционные общества нередко рассматривают всех детей до периода перехода их в разряд взрослых аналогично тому, как современное общество – еще неродившихся детей. Они занимают подчиненное и безгласное положение, и об этих периодах жизни человека не принято рассказывать. О комплексе, связанном с ограничениями рассказов о себе, имевшемся у североамериканских индейцев, и его изживании см.: Wong H. D. Sending my heart back across the years: tradition and innovation in native American autobiography. N. Y., 1992. P. 44–46; Wong H. D. Native American autobiography: Oral, artistic, and dramatic personal narrative. Iowa City, 1986.

⁶ См.: The History of Childhood/ Ed. by L. de Mause. N. Y., 1974 (рус. пер.: *Де Моз Л.* Психоистория. Ростов н/Д, 2000); Zur Sozialgeschichte der Kindheit/ Hrsg. J. Martin, A. Nitschke. München, 1986; *Shahar S.* Childhood in the Middle Ages. L.-N. Y., 1990. Имеется несколько информативных историографических обзоров по истории детства, среди них: *Morel M. F.* Reflections on some recent French literature on the history of childhood // *Continuity and Change*, 4(2), 1989, P. 323–337; *Niestroj Br. H. E.* Some recent German literature on socialization and childhood in past times // *Ibid.*, P. 339–357; *Stargart, Nicholas.* German Childhoods: the Making of a Historiography // *German History*, 16(1), 1998, P. 1–15; *Безрогов В. Г., Кошелева О. Е.* Детство и дети: начальная библиография // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. № 8. С. 37–61.

тельные и отрицательные черты. Приобретая что-то в одной сфере жизни, дети обычно теряли что-то в другой»⁷.

Имея различные мнения на развитие концепции детства в Средние века и Новое время, исследователи в основном сходятся во взглядах на то, что уже XVIII столетие, век Просвещения и становления индивидуализма, внесло в нее радикальные изменения. Они были связаны с отделением мира взрослых от мира детей в повседневной жизни «знатного» общества. Мир взрослых с его взрослыми делами и секретами уже не впускает в себя детей с той легкостью и простотой, как это было раньше: профессиональная и интимная жизнь взрослых, их «взрослые» разговоры и книги, их досуг, финансовые и житейские проблемы оставались за стенами буржуазной детской комнаты, в то время как детей простонародья продолжали включать во все эти взрослые сферы. Специально для детей создается и новый материальный мир: игрушки, детские книжки, детская одежда, мебель, посуда. В богатых домах дети обслуживаются большим штатом гувернанток и учителей⁸. Педагогически «правильная» организация детства предполагала ограничение его пространства детской, классной, садом и образовательными институтами⁹. С XVIII столетия взгляды и мнения о детстве, которые общество до того редко обсуждало в различного рода специальных текстах, теперь стали складываться в многоаспектную «концепцию». Приобретая самостоятельность, период детства стал значимым для общества. С одной стороны, он активно осмыслялся в педагогике, медицине, теологии, философии, в социальной политике государства, с другой – детство стало притягивать к себе больше заботы и эмоционального внимания родителей, чем раньше. Однако конструируемая исследователями общая «концепция» детства, отраженная в текстах XVIII в., в реальности имела свои отличия в разных европейских странах, воплощаясь далеко не одинаково в различных слоях общества и в разных семьях, не говоря уже о том, что у каждого человека могли быть разные и даже весьма противоречивые взгляды на детство (меняющиеся на протяжении жизни или существующие одновременно).

История детства включает в себя два аспекта. В первом она рассматривается как идея, как «культурный конструкт», который воспроизводит убеждения, чаяния, воззрения, ценностные ориентации укорененного в определенной эпохе общества и человека по отношению к детям; во втором аспекте выделяется социальная сторона истории детства, отражающая повседневную жизнь ребенка в семье, в школе, на улице, его включенность в социальную среду, статус и социализацию детей разных возрастов и полов в семьях, группах, слоях, регионах и пр.¹⁰

Различные стороны истории детства исследователи реконструируют на основе различных источников, жанровые особенности которых часто влияют на создаваемую картину. Основными группами таких источников можно считать следующие:

- 1) содержащие язык и терминологию, связанные с детством, равно как и язык самих детей¹¹;
- 2) педагогические, философские, богословские, медицинские и др. трактаты;
- 3) документация школ (в том числе и созданная учениками), медицинских, церковных, судебных, благотворительных, промышленных и др. учреждений;

⁷ Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600–1900. М.: НЛЮ. 2009. С. 21–22.

⁸ Hardach-Pinke I. Die Gouvernante: Geschichte eines Frauenberufs. Frankfurt/M, 1993; Schrelber, Maglster, Lehrer: zur Geschichte und Funktion eines Berufsstandes /Hrsg. von J. G. Prinz von Hohenzollern, M. Liedtke. Bad Heilbrunn, 1989.

⁹ Berg J. H. van den. Über die Wandlung des Menschen. Grundlagen einer historischen Psychologie. Göttingen, 1966.

¹⁰ Jordanova L. New worlds for children in the 18th century: problems of historical interpretation // History of human sciences, 3 (1), 1990, 69–83; Pollock L. «Teach her to live under obedience»: the making of women in the upper ranks of early modern England // Continuity and Change. №4(2), 1989. P. 231–258.

¹¹ Jordanova L. New worlds for children in the 18th century: problems of historical interpretation // History of human sciences, 3 (1), 1990, 69–83; Pollock L. «Teach her to live under obedience»: the making of women in the upper ranks of early modern England // Continuity and Change. №4(2), 1989. P. 231–258.

- 4) государственное законодательство и другие нормативные акты о детях и родителях¹²;
- 5) изобразительные искусства (живопись, скульптура, архитектура), начиная с изображения детей в живописи и кончая архитектурой частных и школьных зданий¹³;
- 6) материальная культура детства (игрушки, мебель, одежда и т. д.)¹⁴;
- 7) литература для детей¹⁵;
- 8) художественная литература о детях¹⁶;
- 9) документы личного происхождения, в том числе и самих детей (письма, дневники, мемуары, автобиографии)¹⁷;
- 10) этнологические материалы (описания детских игр, записи детского фольклора, обычаев материнства и воспитания, инициации и т. п.)¹⁸;
- 11) переписи, актовые, метрические и регистрационные книги и иные демографические и социологические (опросы, анкеты и т. п.) источники¹⁹.

Почти все эти источники являются результатом творчества взрослых и отражают их мнения и действия по отношению к детям и детству. При этом письменные тексты умалчивают о многом, не соответствующем этикету того или иного жанра, подлаживаясь под его каноны. Предметы материальной культуры в этом отношении зачастую могут быть гораздо более «откровенны». Как материальных, так и текстуальных источников, в которых бы слышались голоса самих детей, для отдаленных эпох имеется совсем ничтожное количество, поэтому история детства фактически является скорее историей представлений взрослых о детстве, взаимоотношений с ним, историей «политики детства» и таким образом производна от «истории взрослых» или истории общества в целом²⁰.

¹² См., например, исследование о взаимоотношениях родителей и детей, сделанное по материалам судов: *Bardaglio P. W.* Challenging parental custody rights: the legal reconstruction of parenthood in the nineteenth-century American South // *Continuity and Change*. 1989. № 4(2). P. 259–292; *Dos Gulmaras Sa I.* Child abandonment in Portugal: legislation and institutional care // *Idem*. 1994. №. 9(1). P. 69–89. По более раннему периоду см., например: *Ogilvie Sh.* Coming of age in a corporate society: Capitalism, Pietism and family authority in rural Würtemberg, 1590–1740 // *Idem*. 1986. №. 1(3). P. 279–331.

¹³ См.: *Durantini M. F.* The child in the seventeenth-century Dutch painting. Ann Arbor, 1983; *Бермон Э.* Филипп Арьес. Иконографические и материальные свидетельства истории семьи и детства // «Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства. Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова. Ч. 1. М.: РГГУ, 2012. С. 75–107.

¹⁴ См., например: *Hanawalt B.* Growing up in Medieval London. The Experience of Childhood In History. Oxford, 1993; *Janssen R., Janssen J. J.* Growing Up in Ancient Egypt. L., 1990.

¹⁵ См., например: *Egoff Sh. A.* Worlds within: Children's Fantasy from the Middle Ages to Today. Chicago, 1988; *Tatar M. M.* Off with their heads!: fairy tales and the culture of childhood. Princeton, 1992; *Hannabuss S., Mascella R.* (eds). Biography and children: a study of biography for children and childhood in biography. L., 1993.

¹⁶ See: *Kuhn R. C.* Corruption in Paradise: the child in Western literature. Hanover (NH), 1982; *Marcus L. S.* Childhood and Cultural Despair: A Theme and Variations in Seventeenth-Century Literature. Pittsburgh, 1978.

¹⁷ See: *Slater M.* Family life in the Seventeenth Century: the Verneys of Claydon House. L.: Routledge, 1984. Специальная глава этого исследования, построенного на 30 тыс. документах личной переписки членов одной семьи, посвящена детям и отношению к ним (р. 108–138).

¹⁸ См.: Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. Т. 1–3. М., 1995; Этнография детства: В 4 кн. М., 1983–1992; и др.

¹⁹ See: *Alanen L.* Modern childhood: Exploring the «child question» in sociology. Jyväskylä, 1992; *Griffiths P.* Youth and Authority: formative experiences in England, 1500–1640. Oxford, 1996; *Sandin B.* Education, popular culture and the surveillance of the population in Stockholm between 1600 and the 1840s // *Continuity and Change*. 1988. № 3(3). P. 357–390; *Burchardt N.* Structure and relationships in stepfamilies in early twentieth-century Britain // *Idem*. 1989. №. 4(2). P. 293–322; *Sharpe P.* Poor children as apprentices in Colyton, 1598–1830 // *Idem*. 1991. №. 6(2). P. 253–270; *Mitterauer M.* Servants and youth // *Idem*. 1990. № 5(1). P. 11–38.

²⁰ Лишь по истории детства XX в. исследователям удастся набрать более или менее представительные источники, непосредственно созданные детским и подростковым миром. Например, см.: *Was sie glauben. Texte von Jugendilchen/R.* Shuster (Hrsg.). Stuttgart, 1984; *Kappeler E.* Es schreit in mir. Briefdokumente junger Menschen. München, 1980; *Liebste Mutter.* Briefe berühmter Deutscher an Ihre Mütter/ P. Elbogen. Berlin, 1929; etc. Ср.: *Walczak Y., Burns Sh.* Divorce: the child's point of view. L., 1984 (Hrsg.); *McCredie G., Horrox A.* Voices in the dark: children and divorce. London, 1985. Относительно предыдущих эпох Хью Каннингэм определяет такой набор источников по истории детства представителей образованных сословий (для других групп их меньше): документы, дневники, автобиографии, письма, завещания, надгробия, игрушки, одежда, изображения (картины). См.: *Cunningham H.* Children and Childhood in Western Society since 1500. Harlow, 1995. P. 51. По отражению проблем детства,

Среди источников о детстве автобиография, или рассказ о себе, занимает особое место. В ней повествование о детстве ведется от первого лица и, таким образом, как бы непосредственно передает собственно детские впечатления. Однако это лицо – уже не ребенок, а взрослый, и сообщаемое им отобрано, проанализировано, сформулировано и пропущено через сознание взрослого человека, через представления о том, что и как можно и должно о себе рассказывать той или иной аудитории; через написание цельного текста²¹. «Рассказы о себе», кроме того, отличаются от других источников тем, что отражают понимание взрослыми детства не через отношение к другим детям или детству вообще, а через отношение к себе–ребенку. Это дает совершенно особый ракурс рассматриваемой проблеме: одно дело – отношение к другим, и совсем другое – к себе самому.

ранней юности и отношений между родителями и детьми в письмах XV–XVI вв. опубликована диссертация Матиаса Беера «Родители и дети позднего Средневековья по материалам писем» (*Beer M. Eltern und Kinder des späten Mittelalters in ihren Briefen. Familienleben in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung Nürnbergs (1400–1550)*, Nürnberg, 1990. 570 S.).

²¹ О взаимодействии автора и аудитории см.: *Lejeune Ph. Le Pacte autobiographique*. p., 1975.

2. Как вспоминали о детстве люди разных эпох?

Воспоминания как логически связные повествования о внутреннем развитии и внутреннем опыте автора, в которых раздел о детстве соединяет этот опыт с историей своего времени, окончательно оформились в особый литературный жанр лишь к XIX в. Не случайно помещение раздела о детстве в автобиографии как равноправного с другими разделами совпало по времени с формированием самого понятия «саможизнеописание»²².

Термин «само-биография» (*Selbstbiographie*, *Selbstzeugnisse*, *Selbsterinnerung*, *Selbstdarstellung*, *self-biography*, *self-character*), равный по смыслу современному слову «автобиография», впервые появился именно в конце XVIII в. В Германии в 1796 г. была издана серия «повествований о себе» знаменитых людей предшествующих поколений для назидания, поучения, равно как и для развлечения читающей публики. В том же году термин *self-biography* употребил в своих записках английский политик и ученый Исаак Дизраэли, а в 1797 г. в английском журнале в анонимной рецензии на Дизраэли впервые появился термин «автобиография». В 1809 г. в английской периодике этот термин вновь возник в тексте авторской статьи, а с 1834 г. он вошел в заглавие собственно автобиографических сочинений²³. Отсутствие термина «автобиография», однако, еще не означало, что до того не существовало соответствующему ему жанра. Процесс развития автобиографического сознания протянулся во времени на несколько тысячелетий.

Первые рассказы о себе были написаны примерно четыре-пять тысяч лет назад. Когда люди обрели навыки письменности, они стали фиксировать ответы на вопросы: «кто я есть?», «как я стал тем, кто я есть?». Автобиографическая память как свойство *homo sapiens*, видимо, находила выражение и в устной культуре. Письменность дала ей новые возможности и поставила ее перед своими правилами. Однако в древнейшие времена тексты «о себе» были уникальны, невелики, отрывочны и избирательны – как по составу авторов, так и по содержанию. Жизнь человека в условиях древних обществ иерархизирована и ритуализирована, подвергнута детальной регламентации. В «рассказах о себе» человек этого общества стремился показать себя неразрывной частью того целого, которое составлял народ (племя) и государство. Он становился самим собой и одновременно «настоящим (состоявшимся, реализовавшимся) человеком» постольку, поскольку соответствовал канону воспитавшего его общества. Его жизнеописание отражало типичность его статуса в роде, сословии, племени и т. д. «Рассказы о себе», по-видимому, произошли от необходимости первоначально публичного рассмотрения своего точного соответствия нормам общества. Именно об этом прежде всего писал древний египтянин или житель Месопотамии. Люди древних обществ не включали в жизнеописания о себе сколько-нибудь пространные рассказы о детстве, только изредка проговариваясь о нем между строк, поскольку ребенок стоял за рамками образа полноценного члена общества. Изображение детства помещалось лишь в рассказы о боггах, героях или выдающихся правителях и описывалось потому, что было необычным и сверхчеловеческим. Так было в древнем Египте, в Месопотамии и у хеттов, в Персии и Палестине²⁴, данная модель продолжала оказывать боль-

²² Термин «автобиография» (букв. «саможизнеописание»), от греческих слов «авто», «биос», «графо», заменил бытовавшее в позднюю Античность, Средневековье и Раннее Новое время латинское выражение «*De vita sua*» («О своей жизни»), в котором еще не был столь сильно подчеркнут индивидуальный авторский элемент.

²³ Olney J. *Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical, and Bibliographical Introduction* // *Autobiography: Essays Theoretical and Critical*. Princeton, 1980. P. 5–7.

²⁴ Mowinkel S. *Die vorderasiatischen Königs – und Fürsteninschriften* // *Eucharisterion. Festschrift für H. Gunkel*. Göttingen, 1923. S. 278–322; Janssen J. *De traditioneele Egyptische autobiografie voor het Nieuwe Rijk*. Leiden, 1946; *Imparati F., Saporetti C. L'autobiografia di Hattušili I* // *Studi Classici e Orientali*. 1965. Vol. 14. P. 40–85; Barish D. A. *The Autobiography of Josephus and the Hypothesis of a Second Edition of his Antiquities* // *Harvard Theological Review*. 1978. Vol. 71. P. 61–75; Bruce F. F. *Further Thoughts on Paul's Autobiography (Galatians 1:11–2:14)* // *Jesus und Paulus: Festschrift für Werner Georg Kümmel zum 70.*

шое влияние и на древнегреческое и древнеримское общества, хотя степень развития индивидуального начала в этих культурах была выше египетской и месопотамской²⁵. Однако в Греции и Риме сложилась отрицательная оценка детского возраста, то есть представление о детях как объектах принудительного воздействия со стороны взрослых. Сохранявшаяся идея о том, что движущая сила человеческих поступков и чувств не является его собственным достижением (заслугой или проклятием), а приходит со временем извне, не способствовала утверждению идеи о самооценности ребенка. Продолжалась традиция пренебрежения детством в описаниях своей жизни²⁶. Лишь в поздней Античности под влиянием панегирика, защитительной речи в суде и «поворота к биографии», выработавших четкую структуру жизнеописания героя, элементы воспоминаний о детстве и ранней юности начинают время от времени проникать в греческую и римскую «автобиографию»²⁷. Тексты о детстве римских писателей куда более индивидуализированы и обширны, чем греческие (известно, что существовало гораздо большее количество автобиографических текстов, помимо тех, которые дошли до наших дней). Заметим, что биография в Античности не была тем жанром, который был призван повествовать об обычных людях – она была предназначена для героев, – но ее влияние сказалось на немногочисленных рассказах о себе, например, таких античных авторов, как Лукиан, Марк Аврелий,

Geburtstag / E. Earle Ellis, E. Graesser (Hrsg.). Göttingen, 1975; *Idem*. Galatian Problems: I. Autobiographical Data // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. 1969. Vol. 51. P. 292–309.

²⁵ Демократический и публичный характер жизни некоторых античных городов-государств не способствовал развитию интереса к индивидуализированной автобиографии. Подробнее об этом см.: *Momigliano A. The Development of Greek Biography*. Cambridge (Mass.), 1971. Восточные сказания с ярким биографическим компонентом более соответствовали монархическим формам правления в этих регионах, «автобиография была хорошо развитым литературным жанром в различных странах Персидской Империи от Египта до Ассирии» (Там же. С. 35). Арнальдо Момильяно пишет, что по крайней мере в V в. до н. э. культурный фон Афин не благоприятствовал развитию автобиографии, трагедия и комедия опирались на типичные образцы, история имела своим предметом события военные и политические, связанные с судьбой групп и коллективов, медицина выводила индивидуальные особенности из природной среды и климата, ораторы обращались к согражданам как к целому. На этом фоне доминирования организованного коллективного, однако, все же происходит выделение индивидуального, прежде всего в политике и истории, но ценность индивидуального заключалась в его вкладе в благополучие государства, к которому он принадлежал (Там же. С. 38–41). В IV в. до н. э. ситуация стала уже существенно иной. Политическая стратегия деяний исторических личностей теперь уже персональна и отделена от полиса. Подчеркивается важность индивидуального образования, совершенства, самоконтроля. Автобиографии IV в. до н. э., по Момильяно, – еще достаточно статичные портреты общественных фигур, а не частных лиц, показывающие автора в отношениях с его профессией, политической общностью и т. п., воплощающие противоречие между историческим описанием хронологии событий и внеисторическим – характера (С. 48). Жизнеописание своей жизни в целом в глазах античной аудитории входило в один разряд текстов наряду с биографиями, хотя и не имели полного сходства с ними. Первое имя приобрел для IV в. до н. э. – Ксенофонт, чей «Анабасис» под большим влиянием литературы путешествий приобрел, так же как и последняя, автобиографический характер. Субъективность текста сбалансирована его написанием от третьего лица. Можно отметить также Исократ, который по образцу платоновой «Апологии Сократа» написал ок. 354 г. до н. э. *peri antidoseos*, *Antidosis* («Об обмене») – интересный образец аутентичной апологетической автобиографии, составленной для воображаемого судебного заседания (Momigliano A. *Op. cit.*, 59). Попытка соединить размышления о вечных проблемах с индивидуальным опытом предпринята в «Седьмом письме», приписываемом Платону (См.: *Edelstein L. Plato's Seventh Letter*. Leiden, 1966; *Müller G. Review of L. Edelstein, Plato's Seventh Letter* // *Göttinger Gelehrte Anz.* 221, 1969, 187–210). На основании сохранившихся упоминаний о памятной книге македонских царей, А. Момильяно делает вывод, что в то время еще не было четкого разделения между официальными поденными записями и персональными воспоминаниями (С. 90). В сохранившихся фрагментах автобиографии Николая Дамаскина, жившего во времена императора Августа, апологетический самопортрет также соединяется с изложением фактических событий. В автобиографических текстах римлян продолжается традиция сообщать минимум о частной жизни и максимум – о политических, военных и сопоставимых с ними деяниях. У римлян труднее, чем у греков, считает Момильяно, отделить автобиографию от биографии, ставшей частью аристократического истеблишмента. В римских текстах более важную роль играет рассказ о семье (С. 95). Из римских фрагментов наиболее интересно жизнеописание Суллы (*Res Gestae*). О римских автобиографиях см.: *Suringar W. H. D. De Romanis Autobiographis*. Leiden, 1846; *Armstrong H. H. Autobiographical Elements in Latin Inscriptions*. University of Michigan, 1910; *Blumenthal F. Die Autobiographie des Augustus* // *Wiener Studien*. 1913. Bd. 35. S. 113–130, 267–288; 1914. Bd. 36. 84–103; *Dalfen J. Formgeschichtliche Untersuchungen zu den Selbstbetrachtungen Mark Aurels*. München, 1967. См. также: *Antike Autobiographien. Werke – Epochen – Gattungen*. Hrsg. von M. Reichel. Köln, 2005.

²⁶ *Boas G. The Cult of Childhood*. London, 1966. P. 11–15; *Garland R. The Greek Way of Life. From Conception to Old Age*. Ithaca, 1990. P. 106–162; etc. Иное дело – рассказ о своем происхождении, родителях и предках.

²⁷ См.: *Swain S. Biography and Biographic In the Literature of the Roman Empire* // *Portraits: biographical representation in the Greek and Latin literature of the Roman Empire* / M. J. Edwards, S. Swain. (eds). Oxford, 1997. P. 36; а также см.: *Demosthenes. De corona*.

Либаний. В целом античная автобиография была способом самоутверждения и самозащиты представителей высших сословий²⁸.

Простому смертному невозможно было писать о своем детстве по схеме героического детства, например, как у Геракла или у обожествляемых императоров, поэтому в среде античных писателей и философов складывался другой подход: они изредка начинают упоминать о своем детстве прежде всего как о периоде интеллектуального и профессионального становления. Годы возмужания становятся возможным полем для философской новеллы и назидательного рассказа о годах обучения и о своих учителях²⁹.

Позднеантичное общество придавало большое значение описанию годов учения в биографиях и панегириках различных знаменитых людей, поскольку уже по ним видны те или иные особенности будущей судьбы взрослого человека³⁰. Это привело к разработке жанра описаний деятельности учителей, в том числе и тех, которые сыграли важную роль в жизни авторов таких описаний. Традиция эта впоследствии соединилась с распространившимся почитанием Христа как Учителя. Ярким примером служат воспоминания III в. об учителе Оригене, которые принадлежат Григорию Чудотворцу.

Первые шесть веков нашей эры были временем активного диалога языческого и христианского взглядов на человека и его жизнь. Античная биография продолжала в это время свое развитие и использовалась в основном в качестве воспитательного примера, вызывающего у аудитории гражданские чувства и изображающего выдающегося человека как тип. Она не только делалась более детальной в описаниях детства своих героев и расширила их возможный круг, но и, под влиянием новой религии, обратилась к духовному началу в каждом человеке, к его душе. Христианство дало своим последователям инструмент самоанализа – исповедь. Ее влияние на автобиографию оказалось неизбежным.

Однако, зародившись как публичная, проходящая в присутствии скопления верующих, исповедь затем утвердилась в форме исповеди тайной³¹, и это привело в конце концов к тому, что в Средние века стало не вполне пристойным писать о себе (поскольку к письменному тексту относились как к публичному акту): желание выступить со своей автобиографией, как и в классической Античности, вызывало подозрения, но уже в другом – в закравшемся в душу автора грехе гордыни. Устно о детстве рассказывали по преимуществу лишь сами дети, приходившие к священнику на исповедь. Тем более ценны для нас те немногочисленные средневековые тексты, в которых их авторы – а это исключительно духовные лица – по тем или иным причинам все же поверяют пергамену свои детские воспоминания.

Христианская позднеантичная и раннесредневековая культура фактически породила первую автобиографию в собственном смысле этого слова, в которой достаточно подробно говорилось о периоде детства. Именно христианская традиция в отличие от Античного общества, в целом смотревшего на детей как на имущество, придавала ребенку как «душе живой» большую ценность, так как уже с момента рождения человек есть создание Бога по его образу и подобию и в принципе несоизмерим ни с каким имуществом, в нем есть дух Божий³². Но эта же традиция стала различать божественного ребенка, образец которой был явлен в младенце

²⁸ Momigliano A. The Development... P. 103. Cp.: Sampley J. P. «Before God, I do not lie» (Gal. 1:20): Paul's Self-Defence in the Light of Roman Legal Praxis // *New Testament Studies*. 1977. Vol. 23. P. 477–482; Wilamowitz-Möllendorff U. von. Die Autobiographie im Altertum // *Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik*. 1907. Bd. 1. S. 1105–1114.

²⁹ После смерти Платона появилась даже его фиктивная автобиография, написанная кем-то из его последователей в форме письма (см.: Edelstein L. Plato's Seventh Letter. Leiden: Brill, 1966. (Philosophia antiqua. A series of monographs on ancient philosophy. Vol. 14). P. 4ff.

³⁰ См.: Wiedemann T. Adults and Children in the Roman Empire. L., 1989; Nutton V. Galen and Medical Autobiography // *Proceedings of the Cambridge Philological Society*. 1972. Vol. 198. P. 50–62.

³¹ Roberts C. M. A Treatise on the History of Confession until it developed into Auricular Confession A. D. 1215. London, 1901.

³² Sommerville C. J. The Rise and Fall of Childhood. N. Y., 1990. P. 49–61.

Иисусе, и маленькое греховное существо, с первого появления в этом земном мире увязающее в различных грехах – гнев, неуважение к родителям, затем лжи, сквернословия и т. п.³³

Христианин не рассматривал себя как автономное существо, движимое исключительно своим собственным желанием, а не высшим помыслом. Тем не менее христианство дало человеку статус наилучшего творения Создателя, творения, не только наделенного разумной душой и имеющего свободу воли, но и потенциально призванного к вечному спасению через усовершенствование души, то есть внутреннего начала в каждом человеке. Противопоставление земного и небесного, царства мирской смерти и царства вечной жизни ставило человека от рождения в положение путника, идущего либо к Богу, либо от него. Христианину следовало понимать, на каком отрезке пути он находится в настоящий момент, каким путем он уже прошел и в каком направлении ему надлежит идти дальше. Для этого очень важно было иметь назидательные примеры, помогающие интерпретировать свою моральную биографию. В их число входили как биографии божественных и святых персонажей (легенды и жития), так и некоторые, весьма редкие, автобиографии. Не стоит забывать, что их редкость вызвана еще и тем, что вплоть до начала XVI в. связь между «познанием себя» и отражением этого процесса в письменной форме отнюдь не была всеобщей. Редко появлявшиеся на свет средневековые автобиографии писались в рамках жанров «исповеди» и «утешения», и стимулом к их написанию часто было состояние душевного кризиса, преодолению которого способствовал автобиографический текст, выступавший одновременно и парадигмальным образцом для других³⁴.

Монументальным истоком жанра «духовной автобиографии» явилась «Исповедь» Аврелия Августина, североафриканского епископа IV–V вв., в которой обширный раздел посвящен детству как началу и источнику того неправильного пути, который преодолевается лишь с помощью Господа³⁵. Именно с этого памятника начинается традиция развития автобиографии как истории обращения индивидуальной души к Богу, как истории избавления от своей греховности и от ловушек мира под мудрым надзором, воспитанием, любовью и заботой Господа; как вида терапевтической молитвы и средства истинного самопознания³⁶. Жанр «духовной автобиографии» прошел долгий путь развития, обретая время от времени новое дыхание в русле того или иного религиозного направления или концепции. В историях «своей жизни» средневековые и новоевропейские духовные лица, как и многие миряне (и католики, и протестанты), продолжали видеть в периоде детства и юности или знамения состоявшейся дальнейшей жизни, или тот греховный период, который впоследствии был преодолен через духовный опыт обращения³⁷. Детство такими автобиографами мыслилось как иллюстрация к важным религиозным истинам, обретенным через мистический опыт, как положительное или отрицательное начало истории спасения души.

Под влиянием Ренессанса и Реформации в автобиографии XVII и особенно XVIII в. было сказано новое слово. Начинается история светской автобиографии, хотя традиция автобиографии духовной не утрачивается и продолжает существовать. Итальянский Ренессанс вывел антропологическое начало человеческой природы из той глубокой тени, в которой оно пряталось в период Средних веков. Он стремился поместить человека как можно ближе к верхним

³³ *Shahar S. The Childhood in the Middle Ages. L., 1990.* Стали различать также детскость истинных верующих и ребячество обычных детей.

³⁴ *Ferguson C. D. Autobiography as therapy: Guibert de Nogent, Peter Abelard, and the Making of Medieval Autobiography // The Journal of Medieval and Renaissance Studies. 1983. Vol. 13. P. 187–212.*

³⁵ *Miles M. R. Infancy, Parenting, and Nourishment in Augustine's Confessions // The Journal of the American Academy of Religion. 1982. Vol. 50(3). P. 349–364.*

³⁶ *Баткин Л. М. «Не мечтайте о себе»: О культурно-историческом смысле «Я» в «Исповеди» бл. Августина. М., 1993; Он же. Ради чего Абеляр написал свою Автобиографию? // Arbor Mundi. Мировое древо. 1994. Вып. 3. 25–57.*

³⁷ См.: *Shea D. B. Spiritual Autobiography in Early America. Princeton, 1968; Caldwell P. The Puritan Conversion Narrative: the Beginnings of American Expression. Cambridge, 1983; Mascuch M. Origins of the Individualist Self: Autobiography and Self-Identity in England, 1591–1791. Cambridge, 1997; etc.*

ступеням вселенской иерархии. Человек есть высшая ценность в мире – это мнение порожидало пристальное внимание человека ренессансной эпохи ко всем мелочам своей внутренней и внешней жизни³⁸. Немецкая Реформация и в целом протестантизм на столь же большую высоту стремились вознести человеческие дух и разум³⁹. В XVII столетии они заняли в европейском самосознании то местодемиурга/преобразователя видимого мира, которое раньше занимал Бог, и представили Творца лишь как абстрактную первопричину существования вселенной⁴⁰. Последняя отныне управлялась собственными, неизменяемыми и до конца познаваемыми экспериментальным путем законами.

Сохраняющаяся в протестантизме традиция духовной автобиографии представляла индивидуальную человеческую жизнь, рассказанную прожившим ее человеком, как образец его духовного опыта поиска соединения с Богом. Из реальной жизни с ее конкретными перипетиями создавался пример для других, чтобы они строили свою земную жизнь под влиянием представленного им образца. Детские годы в таких воспоминаниях обычно выглядят как подготовка к обращению («conversion»), переживаемому человеком в процессе внутреннего поиска истинной веры. Эти годы наполнены трагизмом оторванного от истины существования, преодоление которого обычно знаменует переход в иной период земного существования. Детство в протестантских духовных автобиографиях представлено в соединении его возможно реальных черт и эпизодов с концепцией греховной сущности ребенка, накладывающей на его изображение соответствующие черты. Сравнивая средневековые автобиографические тексты с протестантскими, И. Бен-Амос пишет: «В средневековых биографиях святых их герой изображался как родившийся уже с исключительной святостью и божественностью или обретший их в ранние годы. В «духовных автобиографиях», наоборот, автобиограф XVII в. обычно фокусируется на своем совершенно обычном для человека детстве, от греховности которого помогает спастись только Божественное милосердие; и, в соответствии с протестантской теологией, Божья милость и человеческая греховность таким образом проявляются в качестве примера. Вместо того чтобы изображать маленького, разумного, благодетельного ребенка – «мудрого Соломона», представленного некоторыми средневековыми агиографами, пуританский автобиограф рисует внезапное познание Бога или внешних сил, которые должны объяснить, показать или сопроводить в духовное путешествие юношу или девушку; таким образом – это более рассказы об обращении в веру, чем свидетельства о чудесах»⁴¹.

Однако в протестантских автобиографиях продолжал существовать и образ благочестивого детства, сходный с тем, который был обычен для средневековых житий⁴². Но было бы ошибочным думать, что писание о себе стало принято только в русле протестантской духовной автобиографии, люди XVI—XVII вв. вообще стали больше писать о себе, своих чувствах и личной жизни. Они вели дневники, делали записки о себе и родителях для своих детей, писали воспоминания. Например, удивительным образом рассказа-анализа своей сексуальной жизни в детстве является «Исповедь» Жан-Жака Бушара (1634 г.)⁴³.

Обычные воспоминания в жанре исповеди предполагали в первую очередь раскрытие грехов своей жизни перед Богом и осмысление Божьей помощи и наказаний, отразившихся в

³⁸ Об этом периоде см.: *Burke P. Representations of the Self from Petrarch to Descartes // Rewriting the Self. Histories from the Renaissance to the Present / R. Porter (ed.). London, 1997. P. 17–28; Weintraub K. J. The Value of the Individual. Self and Circumstance in Autobiography. Chicago, 1978.*

³⁹ См.: *Pastenaci S. Erzählform und Persönlichkeitsdarstellung in deutschsprachigen Autobiographien des 16 Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Historischen Psychologie. Trier, 1993.*

⁴⁰ См.: *Matthews G. B. Thought's Ego in Augustine and Descartes. Ithaca, 1992.*

⁴¹ *Ben-Amos I. K. Adolescence and Youth in Early Modern England. New Haven and London, 1994. P. 15.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Bouchard J.-J. Les Confessions de Jean-Jacques Bouchard, parisien; suivies de son voyage de Paris à Rome en 1630. A. Bonneau (éd.). P., 1881.*

событиях жизни. От разговора с Богом в присутствии слушателей «рассказы о себе» в XVII и XVIII вв. постепенно становятся разговором с читателями, сначала в присутствии Бога, а затем и без Его приглашения. В духовной автобиографии предмет описания – «детоводительство» ее автора Богом сквозь тернии жизни, Бог выступал настоящим Автором повествуемой жизненной истории. Но наряду с такими текстами постепенно возникает понимание человека как более или менее автономного творца самого себя и своей жизни. В автобиографиях интерес к свидетельствам о Божественном промысле в личной судьбе человека сменяется интересом к опыту конкретного автора, к тому, как он построил свою жизнь и распорядился ею, трагический или благополучный был у него опыт решения проблем и взаимодействия с другими лицами, средой и государством. В XVIII в. особенно усиливается стремление к индивидуализации рассказов о себе, стремление к демонстрации своей непохожести на других. Критерий самовыражения становится одним из главных⁴⁴. Он-то и приводит к появлению термина «автобиография», о котором говорилось выше. Жизнеописание XVIII века ощущает настоятельную потребность в активном включении в него периода детства. Происходят изменения в различных сферах – усиливается роль и значение частной жизни человека. В ней особое место занимают дети. Мы уже говорили о том новом отношении, которое в XVIII в. стало проявляться к детям и детству. Этот век все активнее «работал» над проблемами детства, производя новые теории и методы в воспитании и образовании, в медицине и гигиене, новые подходы к детской литературе.

Таким образом, с одной стороны, «самостоятельная» концепция детства в обществе становится столь явной, что ее трудно уже было «не замечать» и человеку, пишущему свои воспоминания. С другой стороны, на представление в автобиографии своего детства влияет и развитие повышенного интереса к собственной персоне, к своим чувствам, эмоциям, интеллектуальному и физическому развитию – результат антропоцентризма, начало которому было положено гуманистами XIV–XV вв., и саморефлексии, выработанной протестантизмом XVI–XVII вв.⁴⁵ Центром в воспоминаниях XVIII столетия, которые вполне можно назвать светскими, становится сама личность их автора как таковая, личность, предъявляющая себя публике, но все же личность, вписанная в определенный культурный идеал своего сословия. Автобиография XVIII века во многих своих образцах все еще оставалась способом «подверстать» свою уникальную жизнь под образец или, в лучшем случае, сотворить образец из своей жизни. Детство в ней представлено как почва, на которой сформировалась к моменту написания воспоминаний личность их автора. Авторы скорее перечисляли основные вехи своего детства, чем раскрывали их значение и ценность. Обратиться к последним помогли сочинения Ж.-Ж. Руссо, который впервые сказал о том, что детство является ценностью для человека само по себе, а не только для его дальнейшей жизни⁴⁶. Одновременно с Руссо в Германии Карл Филипп Мориц призывал обратиться к познанию человеческой души, начиная с воспоминаний о самых ранних годах детства во всех их мелких и кажущихся незначительными подробностях⁴⁷.

⁴⁴ Nussbaum F. *The Autobiographical Subject, Gender and Ideology in Eighteenth-Century England*. Baltimore, 1989; *The Private Self: Theory and Practice of Women's Autobiographical Writings*/ S. Benstock (ed.). Chapel Hill, 1988; Jelinek E. C. *The Tradition of Women's Autobiography: From Antiquity to the Present*. Boston, 1986; etc.

⁴⁵ Янке Г. Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: люди, тексты, практики. М.: Библио-глобус, 2017. С. 149–196.

⁴⁶ См.: Koppes Ph. B. *The Child in Pastoral Myth: A Study in Rousseau and Wordsworth, Children's Literature and Literary Fantasy*. Lawrence: Uni. of Kansas, 1977. (Diss.)

⁴⁷ Schlumbohm J. *Constructing Individuality: Childhood Memories in Late Eighteenth-century «Empirical Psychology» and Autobiography* // *German History*. 1998. Vol. 16. N. 1. Рус. пер.: Шлюмбом Ю. Рождение индивидуальности. Воспоминания о детстве в «Практической психологии» Карла Морица и развитие автобиографии // Вестник Ун-та Рос. акад. образования. 1999. № 2. С. 114–131.

Именно в XVIII в. появляются обширные автобиографические повествования о детстве рассказчика, выглядящие как вполне самостоятельные части более общего сочинения. В них читателю представляется многогранность детства и его различные этапы: рассказывается о детских и школьных годах автора, его первых «образовательных путешествиях», принятых в то время в среде высшего и среднего сословий, о подростковой дружбе и отношениях с родителями, и т. п.⁴⁸

Ярким примером является «История жизни» Иоганна Юнга-Штиллинга, в которой детству посвящены сотни страниц, раскрывающие, однако, лишь фактическую, а не психологическую историю взросления мальчика⁴⁹.

Р. Коу в своей книге «Когда трава была выше: автобиография и опыт детства» убедительно показывает, как в конце XVIII – начале XIX в. из автобиографического жанра начинает выделяться особое направление, в котором все воспоминания целиком посвящены детским годам. Они все больше и больше насыщаются экскурсами в психологию ребенка⁵⁰. Период, прошедший с 1782 г., когда была опубликована «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, до 1805 г., когда был подготовлен второй вариант «Прелюдий» Вордсворта, – решающий для зарождения особого типа текстов, к которым может быть применимо название «автобиография детства»⁵¹.

Когда в XVIII столетии осознание значимости детства достигло столь высокой степени, что появились воспоминания только о детстве, принцип отбора и представления читателям фактов внешней и внутренней жизни стал несколько иным, чем в тех автобиографиях, где детство присутствовало только в виде начальной прелюдии рассказа о собственной жизни. «Автобиографии детства» часто следуют идее, ярче всего выраженной Ж.-Ж. Руссо, – о кардинальном отличии ребенка от взрослого и о влиянии детского эмоционального опыта на всю дальнейшую жизнь человека. Велико на них и влияние немецкой мысли конца XVIII столетия, придающей огромное значение тому, как проходил в детстве процесс воспитания и образования, поскольку ему и только ему человек обязан своими успехами в дальнейшем. Подобного рода воспоминания не только заканчиваются моментом вступления во взрослую жизнь, но и полнее отражают становление темперамента, внутренний опыт детской души и повседневные проблемы ранних возрастов. Основная тема таких сочинений – рост и взросление героя, в то время как для воспоминаний о всей жизни детство существует скорее в виде эскиза к общей картине, который возможно оценить только исходя из знакомства с законченным произведением.

Детство может выступить и как потерянный рай, в чистоту и непосредственность которого приятно вернуться на склоне лет и заново прочувствовать и осмыслить его; оно иногда становится просто зеркалом того природного состояния радости и беззаботности, из которого человек вынужден уйти в сферу культуры и жестких социальных норм. Детство изображается и истоком индивидуальности взрослого, которая хранит в себе трагедии, страхи и радости детских лет. В детстве человек имеет повышенную эмоциональность, его психика более возбудима, и впечатления ранних лет ярко всплывают в памяти и связываются с днем сегодняшним.

⁴⁸ Baldinger F. Ich wünschte sogar gelehrt zu werden // Drei Autobiographien von Frauen des 18. Jahrhunderts / M. Heuser et al. (Hrsg.) Göttingen: Wallstein, 1994. S. 15–24. См. также: Деккер Р. Долгосрочные тенденции в развитии автобиографического письма в Нидерландах после 1500 года // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: люди, тексты, практики. М.: Библио-глобус, 2017. С. 99–118; Ружисью Ф.-Ж. Лексикон социального пространства в сочинениях личного характера // Там же. С. 119–148.

⁴⁹ См., например: Jung-Stilling J. H. Lebensgeschichte/ G. A. Benrath. (Hrsg.). Darmstadt, 1976; Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть. Ч. 1–2. СПб., 1816; Schön ist die Jugend. Erinnerungen aus zwei Jahrhunderten. W. Klink. (Hrsg.). Zürich, 1948.

⁵⁰ Coe R. N. When The Grass Was Taller. Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven, 1984.

⁵¹ О Вордсворте см.: Gill S. William Wordsworth, The Prelude. Cambridge, 1991; Cocker K. William Wordsworth: Child and Man: The Story of the Poet with his Family and Friends. Huddersfield, 1983; Messer-Davdy E. «In Simple Childhood»: Wordsworth's Philosophy of the Child. University of Cincinnati, 1972 (Diss.); Fadem R. K. The Child is Father of the Man: A Reading of William Wordsworth. Ann Arbor: Columbia Univ., 1971 (Diss.); Blanck G. K. Wordsworth and Feeling: The Poetry of an Adult Child. Madison, 1995.

Именно мир сильных индивидуальных эмоций привлекал к себе читателей воспоминаний на рубеже XVIII–XIX столетий, и показ того, что ребенок далеко не чужд им и психологически не примитивнее взрослого, – в первую очередь заслуга авторов воспоминаний о детстве того времени. В процессе написания воспоминаний происходит внутренняя самореализация автора (выражает ли он свое индивидуальное личностное начало или сравнивает себя с абсолютной религиозной нормой), которая имеет несомненный терапевтический эффект.

Не только развернутое осознание самоценности детства и его значимости для взрослой личности, но и виртуозное искусство его описания в автобиографических сочинениях появляется уже в XIX в. Под влиянием романтизма, провозгласившего каждый период жизни индивидуальной натуры необычайно важным, по-своему и трагичным, и прекрасным, составляющим звено в общей цепи жизненной истории, происходит бесповоротное включение в автобиографию периода детства⁵². Оно занимает там место уже не как подробная предыстория взрослой значимости и своеобразности, как это было в XVIII в., а как «детство само по себе». В этом образе в первой половине века было еще много идеализации, ребенок предстал как маленький ангел, существующий в этом прекрасном или страшном (оценка зависела от автора) мире. Вторая половина века придала облику ребенка в автобиографии известную «реалистичность», в автобиографиях действуют дети, похожие на Тома Сойера, созданного Марком Твенем, и Дороти из знаменитой книги Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз». XX век продолжил линию развития описания детства в автобиографии и внес в нее новые черты⁵³.

Итак, трудно не увидеть тех разительных отличий, которые произошли в изображении детства за долгие века, начиная с древности и кончая веком Просвещения. Они гораздо более существенны, чем различия следующего этапа развития автобиографии вплоть до сегодняшнего дня. Это объясняется изменениями роли, места и статуса детского периода и в жизни отдельного человека, и в жизни общества в целом; изменениями в понимании сущности детства, его характеристик и значения; изменениями представлений о том, как следует писать о себе. Однако желание писать о своем детстве, вызываемое различными причинами, так или иначе существует в письменной культуре на протяжении практически всей ее истории. Оно проявляется сначала редко, благодаря отдельным личностям, с их особым вниманием к своей жизни в ее целостности, а затем распространяется все шире, закончившись тем, что воспоминания о детстве приобретают статус самостоятельного жанра в литературе.

Однако нельзя не отметить, что желание рассказать о своем детстве в письменном тексте могли осуществить по преимуществу только те, кто свободно владел письменной культурой, а таковых в первобытный, древний и средневековый периоды было меньшинство. Следует сказать, что имеются и очень редкие образцы другого вида рассказов о детстве – посредством рисунков, изображающих жизнь человека в ее последовательности. Такова, к примеру, серия картинок о банкире М. Шварце, проживавшем в XVI в. в Германии⁵⁴. Авторам настоящего текста известен пример из современной жизни, когда пожилая деревенская женщина пыталась изобразить свое детство путем создания кукол (себя маленькой, своих родителей, подруг и пр.) и помещения их в игрушечный дом и комнаты своего детства. Рисуночные циклы эпизодов из своей жизни встречались у североамериканских индейцев, хотя у них рассказывать о своем детстве было не очень принято. Возможно, приблизительно таким же образом поступали неграмотные люди в разных странах во все времена.

Для автобиографов разных эпох, как мы стремились показать, значимость детства воспринималась по-разному и интерпретировалась в русле господствующих в то или иное время

⁵² Ср.: *Walther L. The Invention of Childhood in Victorian Autobiography // Approaches to Victorian Autobiography. G. P. Landow. (ed.). Athens, 1979.*

⁵³ См.: *Природа ребенка в зеркале автобиографии/ под ред. Б. М. Бим-Бада и О. Е. Кошелевой. М., 1998; Гений детства: становление человеческой личности в фокусе воспоминаний / ред.-сост. С. Лебедев, Н. Ключарева. М.: Первое сентября. 2009.*

⁵⁴ *Braunstein Ph. Un banquier mis à nu. Autobiographie de Matthäus Schwarz, Bourgeois d'Augsbourg. Paris: Gallimard, 1992.*

концепций человека. Рассказ о детстве мог быть произведен на свет с тем, чтобы соотнести себя со своими предками, встать в ряд людей определенной социальной группы и показать свое ей соответствие. В Средневековье он часто исходил из размышлений о своей греховности и служил подтверждением одного из двух распространенных мнений: человек делается греховным с наступлением половой зрелости (и тогда ребенок – существо невинное, ангелоподобное) или он греховен изначально (и тогда ребенок еще хуже греховного взрослого, который может контролировать себя с помощью опыта и разума). В характере себя-ребенка и в своих младенческих поступках высматривали божественное предопределение, раскрывшееся со всей полнотой в дальнейшей жизни. Есть и сообщения о детстве, написанные не с прямой целью рассказать о нем, а с тем, чтобы повествовать о некоторых важных исторических событиях, пришедшихся на это время жизни. Фрагменты о детстве вставлялись и ради полноты создания «летописи» своей жизни, с целью не пропустить в ней ни единого года, как это делалось в хрониках и анналах. Детство могло служить фабулой для рассказа о различных приключениях наподобие «плутовского романа». Оно могло быть и назиданием своим детям через образец собственного «правильного» воспитания или воплощено в большой «роман воспитания». Подобных причин обращения к своему детству существует множество, и если возможно говорить о преобладании какой-то одной в определенные периоды истории автобиографии, то и другие, отойдя в тень, все же продолжают существовать.

Все же наиболее значимым из всех возможных побудительных мотивов для обращения в воспоминаниях к собственному детству является осмысление собственной взрослой жизни через обращение к ее началу, в каких бы различных формах оно не выражалось. Стоит лишь человеку серьезно задуматься над вопросами, «кто я сегодня таков?», «почему к настоящему моменту моя жизнь в таком состоянии?», – и он неизбежно, отвечая на них, подойдет к своему детству. Другое дело – насколько он сам и культура его времени имеют способы, возможности и желание отвечать на эти вопросы письменным образом.

Во всех разнообразных вариантах изображения детства их авторы из отдельных эпизодов строят образ «начального себя», имеющий отношение прежде всего к статусу, размышлениям или мироощущению автобиографа в момент написания текста, к саморепрезентации и к концепту его жизненного пути и судьбы. В автобиографическое размышление «о самом себе для самого себя», даже написанное не для публикации, незримо вторгается третье лицо – читатель. Для авторов значим процесс составления самого текста и возможность предъявления его читателю, имеющему свои литературные вкусы и взгляды, а также и опыт собственного детства.

Автобиография – удивительный жанр, в котором соединяется автор повествования и его герой, исследователь и наблюдатель, исповедник и исповедуемый, прокурор, адвокат, незнакомый прохожий и другие собеседники и читатели.

3. Изучение воспоминаний о детстве

Автобиографические тексты о детстве привлекают к себе внимание по многим аспектам: 1) определение особенностей данного жанра; 2) изучение исторической динамики взглядов на детство; 3) решение проблем воспитательного процесса и педагогической психологии; 4) изучение особенностей социализации и роли детства в структуре жизненного пути; 5) реконструкция обычаев воспитания у разных народов и др.

Взгляды на автобиографию как на жанр, присущий исключительно двум, максимум – трем последним столетиям, держались достаточно долго. Даже из текстов XVIII в. предпочитали выделять и «записывать» в «настоящую» автобиографию лишь такие, которые имели аналогии с современными концепциями «Я». Тексты же с рассказами людей о себе и своем детстве, существовавшие до того, как появилась «классическая» автобиография, долго оставались в большинстве своем за рамками исследовательского внимания историков и теоретиков автобиографии, поскольку не вписывались в ее каноны. Они в первую очередь подразумевали самовыражение независимой личности, способной к цельному и подробному самоописанию и само-рефлексии. До тех пор, пока исследователи прикладывали критерии автобиографии XIX–XX вв. к текстам более ранних эпох, из прошлого выделялись лишь отдельные произведения, к которым оказывались применимы эти критерии, а между моментами создания таких текстов оставались зияющие пустоты. Подобное отношение к «текстам о себе», пришедшим из далекого прошлого, было некоторое время свойственно всем направлениям и подходам к изучению воспоминаний. Лучшие автобиографии, по Уэйну Шумейкеру, например, имеют черты реалистического романа – форму, структуру и драматизм повествования⁵⁵. Джером Бакли также трактует автобиографии как тексты, преследующие одну цель – самопознание/самооткрытие⁵⁶. Рой Паскаль, хотя и усматривает исток автобиографического жанра в «Исповеди» Августина, но, не видя далее его преемственного развития, определяет время зарождения жанра второй половиной XVIII столетия⁵⁷. «Решающий» «классический» «век автобиографии» начинается, по его мнению, с «Исповеди» Руссо и заканчивается «Поэзией и правдой» Гете⁵⁸. Предтечей «классики» является творчество знаменитого историка Э. Гиббона и публициста Б. Франклина, поскольку они описывали свои развивающиеся неврожденные качества, свою личностность. Этот же период отмечен появлением особой «автобиографии детства», которой Паскаль уделяет особую главу и которую считает наиболее удачной и «чистой» формой целостного изображения себя вне зависимости от дальнейшего взрослого развития.

Ричард Коу – первый из исследователей, специально занявшийся воспоминаниями о детстве и их особенностями в структуре автобиографического жанра, – также построил свою книгу по преимуществу на сочинениях XIX–XX вв., посвятив более ранним текстам лишь часть введения⁵⁹. В нем он раскрывает преемственность и различия автобиографических текстов разных эпох.

Однако в исследовательской литературе сложился и другой подход, трактовавший термин «автобиография» весьма расширительно и понимавший под ним все виды литературных свидетельств о себе людей разных эпох. Его основу заложила многотомная «История автобиографии» Георга Миша, который определил необычайно широкие хронологические рамки жанра «рассказов о себе и своей жизни», начав работу с Древнего Востока и, доведя ее до

⁵⁵ Shumaker W. English Autobiography: Its Emergence, Materials, and Form. Berkeley, 1954 (English Studies, 8).

⁵⁶ Buckley J. H. The Turning Key: Autobiography and the Subjective Impulse since 1800. Cambridge (Mass.), 1984.

⁵⁷ Pascal R. Design and Truth in Autobiography. Cambridge (Mass.), 1960. P. 36–48.

⁵⁸ Фрагменты из Гете см.: Природа ребенка в зеркале автобиографии. М., 1998.

⁵⁹ Coe R. N. When the Grass was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven-L., 1984. P. 17–25.

начала XIX в., так и не успел закончить задуманное⁶⁰. В последнее время исследователи пришли к выводу, что более целесообразно для ранних «рассказов о себе» употреблять такие термины, как «эго-документы», «свидетельства о себе», чтобы подчеркнуть отличия подобных сочинений древности от современной «автобиографии» и самостоятельность их задач. Дело в том, что в течение многих веков «рассказы о себе» находили приют «под крышей» других жанров: речей, хроник, исповедей, писем, житий, судебных показаний и проч., – и подчинялись их законам. Да и задачи авторы этих рассказов ставили перед собой отличные от задач «классической» автобиографии. С введением вышеуказанных понятий изменилась не только терминология, но подчас и сам объект изучения. Долгое время исследовательская традиция включала в поле своего зрения рассказы о себе лиц известных и выдающихся в истории, в настоящее время вектор интереса переместился в сторону свидетельств о ничем особенно не примечательном, «маленьком» человеке и его повседневной жизни в разных регионах, сословиях, в разные эпохи.

Развитие «рассказов о себе», как известно, шло параллельно с развитием понимания человеком своей сущности в соотношении с Богом, природой, обществом, близкими ему людьми. Тексты «о себе», спрятанные в других жанрах, благодаря усилиям многих исследователей извлеченные из них и собранные вместе, приобретают сейчас яркое звучание. Из многих изданий таких текстов можно привести в пример обширный справочник эго-документов, относящихся к периоду первой половины XVII в. в Германии, в котором есть и воспоминания тех, чьи детские годы пришлось на это время⁶¹; обзор эго-документов австрийского происхождения за 1400–1650 годы, содержащий в том числе сведения о фрагментах, относящихся к детским годам⁶²; свидетельства англоязычных эго-документов (дневников, писем, воспоминаний) за 1600–1800 годы, в которых отражены разные аспекты отношений родителей к детям и детское воспитание⁶³; две работы по немецким воспоминаниям о детстве, относящимся к 1700–1900 годы⁶⁴ и др.⁶⁵ К настоящему времени таких собраний эго-документов и справочников по ним, а также отдельных публикаций монографического типа издано уже немало, имеется даже сборник «автобиографических» текстов древних египтян⁶⁶. Однако автобиографические документы о детстве ранних эпох почти не исследовались полностью и систематически как определенный вид источника.

Авторы исследований по истории детства обычно стремятся включить в них различные «рассказы о себе»: они являются наиболее живым и интересным материалом и для читателя, и для исследователя. Автобиографические материалы рассматривались уже таким классиком истории детства, как Филипп Арьес. Однако работы последних лет проявляют все больше скептицизма в отношении «рассказов о себе». В них отмечается, что автобиографии неправо-

⁶⁰ Misch G. Geschichte der Autobiographie. 4 Bde. Bern-Franhfurt/Main, 1949–1969. См. также: Jaeger, Michael. Autobiographie und Geschichte: Wilhelm Dilthey, Georg Misch, Karl Löwith, Gottfried Benn, Alfred Döblin. Stuttgart–Weimar, 1995.

⁶¹ Krusenstjern B. von. Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Beschreibendes Verzeichnis. Berlin, 1997.

⁶² Tersch H. Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650): eine Darstellung in Einzelbeiträgen. Wien-Köln, 1998.

⁶³ Pollock L. A Lasting Relationship. Parents and Children over Three Centuries. Hanover and London: University Press of New England, 1987.

⁶⁴ Опубликовано аннотированная антология: Deutsche Kindheiten: Autobiographische Zeugnisse 1700–1900. I. Hardach-Pinke, G. Hardach (Hrsg.). Kronberg, 1978; и исследование: Hardach-Pinke I. Kinderalltag: Aspekte von Kontinuität und Wandel der Kindheit in autobiographischen Zeugnissen 1700 bis 1900. Frankfurt/M–N. Y., 1981; см. также: Borries B. von. Vom «Gewaltexzess» zum «Gewissebiss»? Autobiographische Zeugnisse zu Formen und Wandlungen elterlicher Straßpraxis im 18. Jahrhundert. Tübingen, 1996.

⁶⁵ Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. R. Lindeman, Y. Scherf, R. M. Dekker (eds). Rotterdam, 1993; Dekker R. Uit de schaduw in't grote licht: Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Amsterdam, 1995.

⁶⁶ Lichtheim M. Ancient Egyptian Autobiographies, chiefly of the Middle Kingdom: A Study and An Anthology. Freiburg, 1988; Stauder-Porcher J. Les autobiographies de l'Ancien Empire égyptien. Étude sur la naissance d'un genre. Leuven, 2017.

мерно принимать за наиболее достоверные источники о детстве, хотя они и являются свидетельствами «из первых рук», то есть сообщениями «очевидцев». Более пристальное и специальное изучение «рассказов о себе» заставляет оценивать их не как прямые свидетельства о реальной жизни детей, но как отражение «понимания детства» взрослым обществом соответствующей эпохи в литературном, культурном, педагогическом, психологическом и иных контекстах личностного бытия конкретного автора. Подчеркивается, что различные тексты «личного происхождения», к примеру, не столько раскрывают реальные отношения родителей к детям, сколько отражают их утопические стремления в отношении к ним⁶⁷.

Но все же было бы неверно, на наш взгляд, полностью отказать «рассказам о себе» и в отражении реалий детства, и в наличии отходов их авторов от «канонического» мышления, и в выражении личных, индивидуальных мнений и памяти чувств. Примером тому является «Исповедь» Августина, уникальная своим подробным изображением детства, которое одновременно и подчинено типичному для раннехристианской мысли отношению к нему, и дает ему новое осмысление, повлиявшее на дальнейшее развитие образов детства в духовной исповедальной автобиографии.

Придерживаясь основной концепции своего повествования, авторы «рассказов о себе» не только умалчивают о многих реальных событиях или субъективно их искажают, но и «проговариваются» о многом, не имеющем для них существенного значения, обыденном, но важном для исследователя, для людей других эпох. Кроме того, жизнь индивида и его внутренний опыт становления раскрываются подчас именно через автобиографические памятники, что делает их особенно ценными для истории семьи, брака, детства, эмоций и т. п.

* * *

Тексты, с которыми вы встретитесь в данном сборнике, показывают, как в автобиографии своеобразно звучит и набирает силу мотив детства. Это свидетельствует о значимости такой темы для различных поколений, с одной стороны, и о многообразии ее воплощений – с другой. Как собственная личностная история, детство необходимо каждому человеку (для перехода из настоящего в будущее человеку необходимо его прошлое). Необходимо и умение его осмысливать, возвращаться к нему на разных этапах своей жизни. Обращаясь к своей автобиографической памяти, каждый человек стремится лучше понять самого себя, увидеть развитие своей личности. Делать это более осознанно и умело поможет познание образцов прошлого: образы детства различных эпох дают возможность в сравнении с ними понимать свое время и идущие в сфере детства сложные и часто укрывающиеся от поверхностного взгляда процессы. Представленный в данной подборке материал показывает детство и ребенка как исторически сложившиеся явления, что помогает осознать наше сегодняшнее отношение к детям и детству как исторически изменчивое.

Тексты расположены в хронологической последовательности времен детства их автора, а не времени написания текстов. Историческая последовательность помогает познакомиться со своеобразием каждого произведения и представить историческую динамику не только способов репрезентации детства, применявшихся на протяжении столетий, но и отраженного в них осмысления детского опыта.

*Виталий Безрогов,
Ольга Кошелева*

⁶⁷ Stargardt, Nicholas. German Childhoods: the making of Historiography // German History. 1998. Vol. 16. N. 1. P. 10.

Часть 1

От Античности до высокого Средневековья

Воспоминания о детстве в Европе I–XIII веков

Знала ли эпоха поздней Античности и Средневековья детство как особый период в жизни человека, отличный от других? Раздумья ученых над этим вопросом и их споры, особенно после выхода в 1960 г. программной книги Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»⁶⁸, породили несколько десятилетий назад новую междисциплинарную область исследований – «историю детства»⁶⁹. По Арьесу (его позиция и на сегодняшний день, пожалуй, продолжает оставаться наиболее авторитетной)⁷⁰, не только современное понятие детства, но и вообще интерес к этому важному периоду жизни были чужды культуре западноевропейского Средневековья; средневековый мир был «миром взрослых», где ребенка тоже считали маленьким взрослым и где, как правило, никто глубоко не задумывался над его возрастными особенностями. Складывание же современного образа ребенка в европейской культуре относится к XVII–XVIII вв., когда детский и взрослый миры получают отчетливые различия и за первым признается самостоятельная социальная и психологическая ценность, и в еще большей степени – к эпохе романтизма, создавшей нечто вроде культа ребенка.

Нужно заметить, впрочем, что в последующие годы эта позиция не раз вызывала аргументированные возражения⁷¹. Серьезной критике подверглась эвристическая значимость метафоры «открытие детства», лежащей в основе подхода Арьеса, найдено немало свидетельств того, что Средневековью были вполне знакомы этапы человеческой жизни, соответствующие современным понятиям детства и подросткового возраста. Сегодня исследователи все более решительно формулируют неприятие тезиса об игнорировании ребенка европейским Средневековьем. Суламифь Шахар, специально посвятившая свою книгу проблеме детства в Средние века, например, категорически заявляет: «Был ли взгляд на детство позитивным или негативным, нет сомнения в том, что детство воспринималось в Средние века как самостоятельный этап человеческой жизни с его собственными качествами и характеристиками»⁷².

Но что, собственно, мы знаем о средневековом ребенке? Довольно хорошо изучены философские и педагогические воззрения о нем современников⁷³; социальные институты, определявшие его развитие, в особенности такие, как школа и семья; изображение детства в художественной литературе и живописи. Однако важные для воссоздания картины прошлого во всей его живой многогранности вопросы о том, чем было детство для обыкновенных людей Средних веков, как переживали они свой собственный детский опыт, только начинают формулироваться исследователями. Очевидно, что для уяснения их особое значение имеют сохра-

⁶⁸ Ariès Ph. *L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime*. Paris, 1960 (2-ème ed. 1973; рус. перевод 1999).

⁶⁹ См. об этом: Кошелева О. Е. «История детства» как способ реконструкции и интерпретации историко-педагогического процесса в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / под ред. Г. Б. Корнетова и В. Г. Безрогова. М., 1996. С. 185–215.

⁷⁰ См. Кошелева О. Е. Филипп Арьес и российские исследования истории детства // Вестник РГГУ. 2010. № 15. Сер. Культурология. Искусствоведение. Музеология. С. 25–32.

⁷¹ См. напр.: Herlihy D. *Medieval Children* // *Essays on Medieval Civilization*. Austin; London, 1978. P. 109–141.

⁷² Shahar S. *Childhood in the Middle Ages*. London; New York, 1990. Цит. по: Кошелева О. Е. Указ. соч. С. 211.

⁷³ См. напр.: Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2 т. / под ред. В. Г. Безрогова и О. И. Варьяш. М., 1994; Послушник и школяр, наставник и магистр: Средневековая педагогика в лицах и текстах / под ред. В. Г. Безрогова. М., 1996; Возлюблю слово как ближнего: учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье / под ред. М. Р. Ненароковой. М., 2017.

нившиеся документы личного характера, в особенности средневековые автобиографические сочинения. В некоторых из этих самоизображений достаточно подробно говорится о первых годах героя-автора. Не могут ли они внести некоторые уточнения или даже новые существенные штрихи в сложившуюся общую картину? Ведь автобиографический характер этих сочинений превращает их в особую, весьма специфическую группу «живых» свидетельств – тех, которые дают возможность узнать не только то, *что думали люди Средневековья о первых годах жизни человека*, но и то, *как они их чувствовали и переживали на своем собственном опыте*.

* * *

Автобиографические тексты VII—XV вв., впрочем, далеко не всегда рисуют яркие и информационно насыщенные картинки первых лет жизни их авторов. П. Абеляр, например, в «Истории моих бедствий»⁷⁴ о своем детстве сообщает крайне скупо и бесцветно. Он приводит лишь некоторые самые общие отрывочные сведения, составляющие часть универсального набора биографических клише: указывается место его рождения, отмечаются одаренность ребенка и склонность к учению, особая забота о нем отца – все это уместается в какие-нибудь два десятка строк. Несколько подробнее вспоминает о детстве Карл IV в третьей главе автобиографического «Жизнеописания»⁷⁵, но его рассказ, по форме мало чем отличающийся от средневековой хроники, лишь сухо регистрирует отдельные внешние жизненные обстоятельства. Здесь следует заметить, что описания жизни автора в средневековом автобиографическом тексте – это вообще чаще всего история событий и поступков, за которой не всегда удастся разглядеть даже того условного «внутреннего человека», делающего выбор между грехом и Божественной благодатью, о котором говорил Апостол Павел в I в. (Рим 7: 22). Помимо прочего, такие описания нередко имеют выраженный риторический характер. Ордрик Виталий (1075—ок. 1142), автор «Церковной истории» в 13 книгах, по примеру древних снабжает свой труд автобиографическим отступлением, в котором немало говорит о собственном детстве. Однако это описание настолько наполнено изысканными красотами стиля и общими местами, что внутренняя история его собственного детства почти целиком растворяется в них. То, что остается на поверхности и что отличает рассказ монаха о себе от какого-нибудь хрестоматийного «жития», – отдельные биографические факты, прочно встроенные в общую повествовательную канву: дата и место рождения, имена крестившего его священника, школьного учителя и монаха-наставника, других людей, сыгравших важную роль в начале его жизненного пути.

Впрочем, отдельные «детские» сюжеты в памяти некоторых авторов запечатлелись довольно живо и подробно. Чаще всего и больше всего они вспоминают о своем учении. Любопытное описание «запойного чтения» встречаем в «Поучениях» греческого монаха Дорофея (ум. после 560). Сначала книга, по его словам, вызывала у него неудержимый страх: всякий раз, когда ему приходилось брать ее в руки, он «был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю». Несмотря на это, мальчик продолжал понуждать себя, и вскоре был вознагражден за свое упорство Господом: прилежание обернулось в необычайную тягу к чтению. «... От усердия к чтению, – вспоминает Дорофей о том, что стало с ним вскоре, – я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей».

Богослов, переписчик и школьный учитель XI в. Отлох Санкт-Эммерамский (ок. 1010 – ок. 1070), рассказывая о своем учении, рисует автобиографический образ пытливого, любозна-

⁷⁴ Абеляр П. История моих бедствий / пер. В. А. Соколова. М., 1959.

⁷⁵ Карл IV. Жизнеописание / пер. и прим. А. В. Леонтьевского // Леонтьевский А. В. «Искусство возможного» в политике Карла IV Люксембурга. Волгоград, 1995. С. 35–36.

тельного и усердного мальчика, намного превосходящего своими способностями сверстников. Рвение этого мальчика вознаграждается Господом, избавляющим его от усвоенного в детстве неправильного наклона пера и открывающим ему тем самым карьеру переписчика священных книг⁷⁶. Византийский монах Никифор Влеммид (ок. 1197 – ок. 1282) говорит о науках, которые он изучал, а также подробно перечисляет наиболее важные произведения античных и христианских авторов и даже называет учебники, которые он штудировал.

Особое место при этом писатели отводят рассказам о тяготах, сопутствовавших их учебе, в особенности о жестокостях и несправедливостях учителей. Много, с нескрываемой болью и горечью говорит о своем учении Августин Блаженный (354–430). «Боже мой, Боже, – сокрушается он, – какие несчастья и издевательства испытал я тогда». Детский и взрослый миры в его рассказе отчетливо разведены и даже противостоят один другому. В школе, куда его отдали постигать грамоту, он вначале не отличался прилежанием и за свое нерадение частенько бывал жестоко бит. Причем жестокость, проявленная к нему, ребенку, как он хорошо помнит, вызывала не возражения, а, напротив, снисходительные улыбки его родителей, несомненно, любивших свое чадо и искренне желавших ему добра. И это доставляло юному Августину дополнительные тяжкие страдания: «Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня... то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключилось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем».

Суровыми и полными несправедливостей выглядят и годы учения в автобиографии настоятеля Ножанского монастыря Гвиберта (1053–1121). Однако его отношение к перенесенным тяготам и к взрослому миру в целом не столь однозначно, как у Августина. Он считает, что учитель искренне желал ему добра, но был излишне строг и неискусен в своем деле. «Мой учитель, – вспоминает Гвиберт, – питал ко мне гибельную дружбу, и чрезмерная его строгость достаточно обнаруживалась в несправедливых побоях, которыми он меня наделял».

Сюжетная канва рассказа Гвиберта о годах ученичества, если оставить в стороне детали, близка к модели Августина: он тоже не проявлял поначалу должного рвения к занятиям и бывал за это жестоко бит, тоже тяжело переживал несправедливость этих побоев. Что отличает оба сюжета, причем отличает разительно, – это интерпретация событий авторами. В «Исповеди» шалости мальчика и его увлечение играми, мешавшие учебе, – это всего лишь подтверждение истины об изначальной греховности человеческой природы (детство не невинно, оно всего лишь менее порочно по сравнению с другими периодами жизни человека). У Гвиберта воспоминания о трудных годах ученичества дают материал для заключения иного рода. Причиной его первоначального неуспеха в постижении наук оказывается не он сам, не ребенок, несущий на себе печать первородного греха, а нехватка знаний и умений учителя, за которую приходилось сурово расплачиваться мальчику: «Он бил меня тем несправедливее, что если бы у него был действительно талант к обучению, как он полагал, то я, как и всякий другой ребенок, понял бы легко каждое толковое объяснение». Говорит же он об этом в своем сочинении, как он сам признается, не для того, чтобы запятнать имя доброго друга, каковым этот учитель для него был, но чтобы поделиться с читателем одним из своих философско-педагогических наблюдений: «Мы не должны выдавать другим за верное то, что существует в нашем воображении, и не должны покрывать сомнительного мраком своих догадок».

Построение описаний детства в средневековых автобиографических сочинениях нередко оказывается довольно схематичным, восходящим к тому или иному узнаваемому образцу античной или христианской биографических традиций. Тяготеющие, например, к античной особенно часто и охотно обыгрывают такие топоры, как благородное происхождение героя и его успехи в учении, а продолжающие христианскую – чудесные знамения, свидетельствующие

⁷⁶ Здесь использованы материалы об Отлохе Н. Ф. Ускова.

щие об избранничестве героя и его особой близости к Богу. Конечно, наиболее заметны в этих сочинениях христианские биографические (агиографические) клише⁷⁷, откровенно доминирующие в произведениях, родившихся в монастырской среде. Так, в сочинении папы Целестина V (Петр из Мурроне, 1215–1296) рассказывается, как Всевышний продемонстрировал свое особое благорасположение к будущему главе Римской церкви в пяти-шестилетнем возрасте, открыв сердце мальчика ко всему доброму и вложив в его уста слова о готовности стать слугою Господа. Аналогичная повествовательная модель обнаруживается в жизнеописании Геральда Камбрийского: когда другие мальчики строили из песка замки и крепости, сам он предпочитал возводить церкви, за что был прозван отцом «мой епископ». Очевидно, что это был знак, наряду с другими ему подобными, указующий на небесную предначертанность жизненного пути ребенка.

* * *

Из всех средневековых автобиографических описаний детства можно указать на два, явно не вписывающихся в общую картину в целом довольно «прохладного» с современной точки зрения отношения авторов к первым годам своей жизни. Эти описания отличаются от других не только необычайной глубиной и детальностью, но и живым личностным отношением авторов к своему давно ушедшему возрасту. Речь идет об уже упоминавшихся «Исповеди» Августина и «Монодиях» Гвиберта Ножанского⁷⁸.

Августин вполне определенно строит рассказ о себе, следуя широко распространенным в позднем Риме представлениям о делении человеческой жизни на семь возрастов. Не достигнув, однако, ко времени написания своей автобиографии последних двух, старости (*seniores*) и дряхлости (*senectus*), он говорит только о пяти из них: внутриутробном (*primordia*); младенческом (*infantia*) – от рождения до появления речи; детском (*pueritia*) – от появления речи до наступления половой зрелости; юношеском (*adolescentia*) и о возрасте полного расцвета сил (*iuventus*) – обычно примерно 20–45 лет, у Августина – с 29 лет до времени написания «Исповеди».

Первые три периода, очевидно, составляют для Августина некое важное в смысловом отношении целое, поскольку рассказу о них он посвящает почти всю первую книгу сочинения. Хотя, нужно добавить, что сами эти периоды для автора «Исповеди» далеко не равнозначны: *primordia* и *infantia* явно менее существенны, чем *pueritia*, так как о них у него не сохранилось своих собственных воспоминаний. Очевидно также, что его интерес к началу своей жизни имеет вполне определенную направленность, заданную жанром всего произведения: вспоминая свое детство, Августин горячо, порой мучительно стремится осмыслить его в категориях открывшихся перед ним истин христианства. Именно поэтому его припоминание обретает довольно своеобразный вид: всякое автобиографическое свидетельство, всякое устремление или поступок ребенка неизменно соотносятся с этими истинами и тем самым как бы освещаются высшим светом Божественной правды.

Свое появление на свет, вступление в этот мир Августин рассматривает как величайшее чудо, лишь в ничтожной степени доступное его собственному разумению. Что было с ним раньше, был ли он и прежде, до зачатия и рождения его матерью? Все, что он может, это лишь страстно испросить об этом Господа, смиренно преклонив голову пред Его безграничным могуществом и непостижимостью Его мудрости.

⁷⁷ См. об этом: Weinstein D., Bell R. M. *Saints and Society. Christendom, 1000–1700*. Chicago; London, 1982. P. 19–47.

⁷⁸ См. подробнее: Зарецкий Ю. П. Детство в средневековой автобиографии: святой Августин и Гвиберт Ножанский // Вестник Университета Российской академии образования. 1998. № 1.

Детский возраст в представлении Августина – это, хотя и вобравшая в себя опыт младенчества, но, несомненно, новая, качественно отличная ступень его биографии, начало его собственной сознательной жизни, его Я. Главной внутренней особенностью этой ступени является способность ребенка выражать свои мысли, главной внешней – то, что он впервые по-настоящему вступил в противоречивую и бурную жизнь человеческого общества.

Вся история детства, рассказанная Августином, помимо прочего, насквозь пронизана идеей изначальной человеческой греховности. Хотя сам автор «Исповеди» и не помнит об этом, он все же твердо убежден, что еще в младенчестве совершал дурные поступки, – ведь, наблюдая за другими малышами, он может увидеть, каким сам был когда-то. Августин указывает на характерные для грудных детей грехи, самым серьезным из которых, по его мнению, является ревность, и, резюмируя свои наблюдения, заключает: «... младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей».

Но все же несравнимо более тяжко Августину довелось грешить в детстве. Он признается в том, что обманывал воспитателя и учителей, и теперь отчетливо видит мотивы, которые заставляли его делать это («из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья»). Кроме того, он воровал еду из родительской кладовой и со стола («от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки») и был нечестен в игре («в игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жадной превосходства»). Но главным грехом мальчика было то, что он отвращал свои взоры от Господа, увлекаемый «внешним», мирской суетой – то ли «баснями древних» о деревянном коне, полном вооруженными воинами, и пожаре Трои, то ли поиском истины «не в Нем самом, а в созданиях Его: в себе и в других». Эти детские прегрешения кажутся не столь уж тяжкими, однако не следует забывать, что для Августина по своей сути они ничем не отличаются от тягчайших пороков взрослых.

Говоря о себе-ребенке, автор «Исповеди» рисует образ одаренного мальчика с открытой душой и добрым сердцем: «Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества». Воистину, «что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе?» Разумеется, все эти достоинства мальчика Августин относит не на свой счет и не на счет своих родителей, а воздает за них хвалу Господу: «И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе...». Он явно не видит в них ничего, принадлежащего ему самому.

Но тогда насколько обозначенные в «Исповеди» качества ребенка характеризуют именно Августина? В какой мере автор «Исповеди» говорит о себе и в какой – о ребенке вообще? Идет ли у него речь о его собственном детстве или о детских годах любого человека, подобно тому как мы это встречали в его «отчете» о младенчестве? Расплывчатость очертаний фигуры Августина-ребенка усиливается еще и тем обстоятельством, что он абсолютно ничего не сообщает читателю о своем внешнем облике. Был ли он высоким, маленьким, упитанным, худым, какого цвета были его волосы, глаза – все это для него как будто несущественно, недостойно интереса, все это вытесняет христианская идея ребенка, впервые в истории формулируемая Августином на своем собственном жизненном материале.

В этом состоит главная задача автора. В общем контексте «Исповеди» его собственная жизнь как таковая не имеет и не может иметь самодовлеющего смысла. Ребенок Августин – это всегда и ребенок вообще, часть мира, чудесным образом сотворенного Господом. Поэтому конкретные биографические детали, то, что отличает его от других, не суть важны. Не из-за этого ли он даже не считает нужным назвать место своего рождения и имена своих родителей, остающихся в его описании собственного детства скорее Отцом и Матерью Человеческими, чем конкретными людьми во плоти?

Автобиография Гвиберта Ножанского демонстрирует иной тип отношения к детству. В отличие от Августина Гвиберта больше интересует не дитя вообще и не чудо Божьего творения, а его собственный детский опыт, его собственные печали и радости. Больше того, в «Монодиях» обнаруживаются следы глубоко личностного, порой даже пронзительно личностного восприятия детства – по-видимому, это вообще самый психологичный, самый индивидуализированный и самый детальный портрет ребенка во всей западноевропейской средневековой литературе.

О первых месяцах в этом мире, покрытых мраком беспомощности, Гвиберт говорит вскользь, упоминая лишь о ранней кончине «отца по плоти», своем успешном физическом развитии и присущей этому возрасту живости. Подробный же рассказ о детских годах начинается у него с того времени, когда он стал обучаться грамоте (примерно с шести лет), и оканчивается, когда после отъезда матери и домашнего учителя он оказывается предоставленным самому себе (примерно в 12 лет), совершает многочисленные прегрешения и вскоре после этого принимает монашеский сан.

Внезапное исчезновение контроля за поведением ребенка со стороны взрослых круто меняет жизнь Гвиберта. Испытывая дурное влияние старших мальчиков, он всем своим поведением бросает вызов нормам благочестия, надеясь, что его грехи в будущем будут прощены. В совершенных им в то время дурных деяниях Гвиберт исповедуется перед читателем обстоятельно и искренне и в заключение своего самоотчета подчеркивает, что это было время, разительно непохожее на годы, проведенные под строгим надзором наставника.

Приход мальчика вслед за этим в монастырь определенно обозначает окончательное вступление во второй, главный и самый продолжительный период его биографии. В монастырских стенах он не только возрождается к возвышенной духовной жизни, но и неожиданно чудесным образом легко разрешает свою давнюю проблему – отсутствие желания учиться и способностей к учению. Никаких принципиальных качественных изменений ни во «внешней», ни во «внутренней» его жизни больше не происходит до самого конца первой книги. С принятием монашеского сана он то ли становится взрослым раньше времени, то ли вступает во вторую стадию детства, растянувшуюся на всю его жизнь.

Подробное описание появления младенца на свет, совершенно очевидно, не является случайностью. По мнению Гвиберта (подобные представления были вообще широко распространены в Средние века), обстоятельства рождения ребенка – это указующий знак его будущности, который Господь дает миру, однако знак безусловный и несамоочевидный, до конца разгадать который едва ли дано кому-либо из людей. Гвиберт был последним ребенком у матери и единственным, кто остался в живых, миновав младенческий возраст. Автор оставляет это свое замечание без комментариев, но из контекста можно предположить, что оно имело для него особый смысл, являясь одним из знаков избранничества. Более явным указанием на уготованную Гвиберту судьбу является день, в который младенец появился на свет, – Пасхальное воскресенье. Это уже, вне всякого сомнения, выражение Божественного волеизъявления, и автор трактует его как дарованную свыше надежду на благую будущность новорожденного.

Жизненный путь Гвиберта был предуготован, однако, и другими событиями, связанными с его рождением. Он рассказывает, что, когда приблизился долгожданный час, младенец неожиданно повернулся в утробе матери головой вверх, что, по мнению членов семьи, представляло для нее смертельную угрозу. Тогда они решили отправиться в церковь и на алтаре Девы Марии дать обет: в случае, если родится мальчик, он будет отдан в служение Господу и Божьей матери; если же девочка, то ей также быть монахиней. Вскоре роженица благополучно разрешилась от бремени мальчиком, но ребенок был настолько мал и тщедушен, что вид его, почти уродца, вызвал всеобщее замешательство. В тот же день он был крещен, и перед свершением таинства произошло еще одно примечательное событие, которое Гвиберту впоследствии не раз шутливо пересказывали: некая женщина взяла его на руки и стала перебрасывать с

ладони на ладонь, выражая сомнения по поводу жизнеспособности маленького жалкого существа.

Когда Гвиберт принялся за написание своей автобиографии, ему было уже за пятьдесят, но его горькая память о ранних годах была по-прежнему жива. Даже больше, по его собственному заверению, она буквально кипела в его душе: «Исповедуюсь в пороках моего детства и юности, которые до сих пор в этом зрелом возрасте все еще полыхают во мне»⁷⁹. И читатель быстро убеждается, что это заверение вовсе не дань риторике. Гвиберт действительно говорит о своем детстве необычайно живо, можно даже сказать, страстно, с неподдельной болью и горечью размышляя и над всплывающими в памяти жизненными обстоятельствами давно ушедших дней, и над своими недостойными поступками и помыслами. Причем по сравнению, например, с Августином, эти его воспоминания гораздо более индивидуализированы. Неудивительно, что автобиографизм такого рода делает текст «Монодий» весьма привлекательным как для биографов Гвиберта, так и вообще для ученых, чьи интересы связаны с проблемами средневековой личности. Какую роль сыграли детские впечатления и первый жизненный опыт в формировании характера и мировоззрения этого несомненно неординарного человека? Некоторые акценты рассказа Гвиберта, прежде всего о людях, оказавших влияние на становление его личности, позволяют существенно конкретизировать этот вопрос, сформулировав его в категориях психоанализа⁸⁰.

Первое, что обычно обращает здесь на себя внимание, это особая роль матери, о которой в «Монодиях» говорится с необычайной любовью и нежностью. Гвиберт буквально боготворит ее, наделяя качествами, присущими скорее небесному, чем земному существу: невиданной красотой, сугубой чистотой нравов, исключительным благочестием и глубокой набожностью. Влияние матери на него было огромным. Вплоть до сорокалетнего возраста она находилась рядом с ним, исполняя роль духовного наставника и одновременно являясь воплощением идеала христианской жизни (не раз обращалось внимание на то, что ее образ весьма напоминает у автора «Монодий» образ Девы Марии и иногда сливается с ним). Другой важный момент – это ранняя потеря отца, место которого в жизни ребенка занял домашний учитель. Хотя сам Гвиберт и не помнит своего «отца по плоти», все же он достаточно определенно выражает негативное отношение к нему, особенно к несоблюдению им чистоты брачных уз и недостаточной набожности. И даже высказывает предположение, что, останься он в живых, он не позволил бы исполнить данный при рождении Гвиберта обет и сделал бы из него не монаха, а рыцаря. Но все же вторая по значимости фигура в детские годы героя «Монодий» не его отец, а домашний учитель, под строгой опекой которого прошли шесть лет жизни ребенка. Отношение Гвиберта к нему явно неоднозначное. Хотя он постоянно заверяет читателя в искренней взаимной любви наставника и его подопечного, воспоминания о его некомпетентности, излишней суровости и несправедливых жестоких наказаниях по-прежнему будоражат память монаха.

* * *

На примере Августина и Гвиберта мы особенно отчетливо видим два, хотя и схожих в каких-то самых общих чертах (христианские представления об изначальной греховности человека, исповедальный и покаянный тон, невозможность помыслить себя обособленно от Божественного Космоса), но все же очень разных восприятия средневековым человеком его собственного детства.

⁷⁹ *Guibert de Nogent. Autobiographie / éd. E.-R. Labande. Paris, 1981. P. 3.*

⁸⁰ См. напр.: *Kantor J. A psychohistorical source: the Memoirs of Abbot Guibert of Nogent // Journal of Medieval History. 1976. Vol. 2.*

Для епископа Гиппонского детство – один из семи отчетливо различимых возрастов человеческой жизни. Это время, когда он, выйдя из младенческого состояния, приобрел новые биологические и социальные качества и был менее, чем в юном и зрелом возрасте, склонен к пороку. Но для Августина далекие годы, о которых он вспоминает, – это не столько его собственное детство, сколько универсальный этап развития, через который проходят все люди – как каждый в отдельности, так и весь человеческий род. В его представлении возрасты жизни человека в своей глубинной сути составляют нерасторжимое целое с этапами всемирно-исторического движения человечества, определенного Творцом: младенчеству соответствует время от сотворения Адама до Всемирного потопа, детству – от потопа до Авраама, отрочеству – от Авраама до Давида и так далее. Понятно, что в таком контексте ни его собственная жизнь, ни чья-то еще ничем принципиально не может отличаться от жизни других людей, и ни о своеобразии, ни о самодостаточности его первого жизненного опыта в «Исповеди» не может быть и речи. Это, впрочем, не противоречит тому, что отдельные яркие впечатления Августинова детства продолжают жить в его взрослом сознании. Но жить по-особому, являясь одновременно и исходным материалом для христианского истолкования природы ребенка, и иллюстрацией общеизвестных Божественных истин.

Отношение Гвиберта к своему детству гораздо более личностно – давние годы жизни буквально будоражат его сознание воспоминаниями и смутными переживаниями. Однако понять, каковы корни такого пристального внимания к себе-ребенку, совсем непросто. Нам трудно поверить, что его заставляют вспоминать о детстве те ничтожные прегрешения, о которых он рассказывает, – едва ли они могут заставить так горячо сокрушаться даже самую чистую христианскую душу. Да и вообще его детским «порокам» в структуре автобиографического рассказа уделено слишком незначительное место. По сравнению с Августином Гвиберт вспоминает о своем детстве, несомненно, с несравнимо большей непосредственностью. Он не столько стремится открыть читателю высшую истину, преподать ему моральный урок или воспеть вместе с ним хвалу Господу (хотя все эти мотивы в той или иной мере у него присутствуют), сколько «просто» рассказывает о том, что запечатлелось в его памяти о первых годах жизни, дополняя этот рассказ своими размышлениями: об образе матери, учителя, о трудностях в овладении знаниями, своих дурных поступках и помыслах, упорном желании стать монахом, внешних обстоятельствах, определявших его жизнь в этот период.

Но следует ли из всего этого, что детство было «по-настоящему» открыто Гвибертом и что по своему отношению к нему он такой же «почти современный человек», как и по своему рационалистическому складу ума? Заключение такого рода, по-видимому, было бы поспешным по многим причинам. Хотя бы уже потому, что у Гвиберта, несомненно проявляющего пристальный интерес к своим детским годам, нет и намека на понимание первостепенного значения детства для становления его личности, того кажущегося ныне бесспорным взгляда, который сформировался в Новое время и позднее нашел одно из наиболее ярких выражений в теории психоанализа. И блестяще формулирующая этот новый взгляд известная фраза Вордсворта «Дитя – отец человека» ему, так же как и другим средневековым авторам, скорее всего показалась бы загадкой.

Юрий Зарецкий

Публий Овидий Назон (43 до н. э. – 17/18 н. э.)

Древнеримский поэт, сосланный Октавианом Августом на 10 лет в Западное Причерноморье. Овидий родился 20 марта 43 года до н. э. (711 год от основания Рима) в г. Сульмоне, в округе пелингов, небольшого народа сабелльского племени, обитавшего к востоку от Лациума, в гористой части Средней Италии. Место и время своего рождения Овидий с точностью определяет сам. Род его издавна принадлежал к всадническому сословию; отец поэта был человеком состоятельным и дал своим сыновьям хорошее образование. Посещая в Риме школы знаменитых учителей, Овидий с самых ранних лет обнаружил страсть к поэзии. В приведенной ниже элегии (Trist., IV, 10) он признается, что и тогда, когда нужно было писать прозой, из-под пера его невольно выходили стихи. Следуя воле отца, Овидий поступил на государственную службу, но, прошедши лишь несколько низших должностей, отказался от нее, предпочитая всему занятию поэзией. По желанию родителей рано женившись, он вскоре вынужден был развестись; второй брак также был недолг и неудачен; и только третий с женщиной, уже имевшей дочь от первого мужа, оказался прочным и, судя по всему, счастливым. Собственных детей Овидий не имел. Дополнив свое образование путешествием в Афины, Малую Азию и Сицилию и выступив на литературном поприще, Овидий сразу был замечен публикой и снискал дружбу выдающихся поэтов, например, Горация и Проперция. Сам Овидий сожалел, что ранняя смерть Тибулла помешала развитию между ними близких отношений и что Вергилия (который не жил в Риме) ему удалось только видеть. В 8 году нашей эры Август по не вполне ясной причине (исследователями высказывается несколько версий) сослал Овидия в город Томы (совр. Констанца, Румыния), где на девятом году жизни тот и скончался.

«Скорби», или «Скорбные элегии», Овидий начал писать в дороге, направляясь к месту ссылки. Сборник из пяти книг элегий был написан за первые три года пребывания в Томах среди «диких гетов и сорматов». Резкая перемена обстановки и обстоятельств и обусловила, в частности, автобиографический характер поэзии Овидия, воспоминания о прошедшей жизни⁸¹.

Скорбные элегии

Книга четвертая

Элегия десятая

Тот я, кто некогда был любви певцом шаловливым.
Слушай, потомство, и знай, чьи ты читаешь стихи.

Город родной мой – Сульмон, водой студеной обильный,
Он в девяноста всего милях от Рима лежит⁸².

⁸¹ Пер. С. А. Ошерова. Печатается по изданию: *Овидий. Элегии и малые поэмы* / Сост. и пред. М. Л. Гаспарова. М., 1973. С. 425–426. Вступительные статьи и комментарии составлены на основе сведений, приведенных в этом издании.

⁸² Сульмон – город в области пелингов в Апенинах (в 133 км от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия.

Здесь я увидел свет (да будет время известно)
В год, когда консулов двух гибель настигла в бою⁸³.
Важно это иль нет, но от дедов досталось мне званье,
Не от Фортуны щедрот всадником сделанся я⁸⁴.
Не был первенцем я в семье: всего на двенадцать
Месяцев раньше меня старший мой брат родился.
В день рождения сиял нам обоим один Светоносец⁸⁵,
День освещали один жертвенных два пирога⁸⁶.
Первым в чреде пятидневных торжеств щитоносной Миневры
Этот день окроплен кровью сражений всегда⁸⁷.
Рано отдали нас в ученье; отцовской заботой
К лучшим в Риме ходить стали наставникам мы.
Брат, для словесных боев и для форума будто рожденный,
Был к красноречью всегда склонен с мальчишеских лет,
Мне же с детства милей была небожителям служба,
Муза к труду своему душу украдкой влекла.
Часто твердил мне отец: «Оставь никчемное дело!
Хоть Меонийца⁸⁸ возьми – много ль он нажил богатств?»
Не был я глух к отцовским словам: Геликон⁸⁹ покидая,
Превозмогая себя, прозой старался писать, —
Сами собою слова слагались в мерные строчки,
Что ни пытаюсь сказать – все получается стих.

Год за годом меж тем проходили шагом неслышным,
Следом за братом и я взрослою тогу надел⁹⁰.
Пурпур с широкой каймой⁹¹ тогда окутал нам плечи,
Но оставались верны оба пристрастиям своим.
Умер мой брат, не дожив второго десятилетия,
Я же лишился с тех пор части себя самого.
Должности стал занимать, открытые для молодежи,
Стал одним из троих тюрьмы блюдущих мужей⁹².

⁸³ Консулы 43 г. до н. э. Гирций и Панса погибли от ран, полученных в битве 21 апреля при Мутине против Марка Антония.

⁸⁴ Потомственное всадническое звание пользовалось большим уважением, чем нажитое.

⁸⁵ «Люцифер» – Денница, утренняя Венера.

⁸⁶ День рождения у римлян олицетворялся как «гений рождения», которому человек приносил в этот день бескровные жертвы (ладан, пирог на меду и пр.)

⁸⁷ Из пяти дней праздника Квинкватрий в честь Миневры (19–23 марта) со второго дня начинались гладиаторские игры; в этот день, 20 марта, и родились Овидий и его брат.

⁸⁸ Имеется в виду Гомер, родиной которого считалась Меония (древнее название Лидии)

⁸⁹ Согласно греческой мифологии, на горе Геликон находились священные для муз родники. По легенде, источник под названием Гиппокрена возник от удара копыта Пегаса по камню. Также на Геликоне находился родник, в который смотрелся Нарцисс. Геликон был обителью муз; в своем произведении «Причины» («Aitia») поэт Каллимах из Кирены рассказывает о сне, в котором он снова стал молодым и беседовал с музами на Геликоне. В честь муз на Геликоне был построен храм, в котором находятся статуи всех муз. Родник Гиппокрена служил источником вдохновения для поэтов. В конце VIII века до нашей эры поэт Гесиод писал о том, как в молодости он пас овец на склонах Геликона, а на вершине танцевали музы и Эрос. С тех пор Геликон стал символом поэтического вдохновения. Каллимах из Кирены поместил эпизод с ослеплением Тиресия на Геликоне. С упоминания о Геликоне также начинается «Теогония» Гесиода. В геометрическом гимне Посейдону бог назван «владыкой Геликона». Римские поэты также использовали в своих произведениях мифы о Геликоне.

⁹⁰ Белую тогу вместо окаймленной детской тоги надевали при совершеннолетию, около 16 лет.

⁹¹ Туника с широкой пурпурной каймой означала намерение молодого человека домогаться государственных должностей, ведущих в курию, в сенат; узкая полоса, наоборот, означала намерение оставаться во всадническом сословии.

⁹² Одним из триумвиров по уголовным делам.

В курию мне оставалось войти – но был не по силам
Мне тот груз; предпочел узкую я полосу.
Не был вынослив я, и душа к труду не лежала,
Честолюбивых забот я сторонился всегда.
Сестры звали меня аонийские⁹³ к мирным досугам,
И самому мне всегда праздность по вкусу была.
Знаться с поэтами стал я в ту пору и чтил их настолько,
Что небожителем мне каждый казался певец. <...>

⁹³ Музы, обительницы Геликона в Беотии (Аонии).

Лукиан из Самосаты (ок. 120 – ок. 185)

Сирийский грек Лукиан – фигура пограничная. Он жил в эпоху, когда при всем внешнем блеске римского общества и государства начинался упадок античной культуры, распространялось неверие в языческих эллинских богов и одновременно формировалось новое мировоззрение, которое станет доминирующим в последующий период Средних веков, – христианство. Лукиан достаточно скептически относился и к язычеству, и к христианству, что усиливало внутренний трагизм его положения, из которого он стремился выйти с помощью увлечения филологией и сочинения массы сатир на окружающую жизнь. Лукиана не любили ни приверженцы древности, ни последующие христианские писатели.

Сведения о Лукиане скудны. Родился он в небольшом городке в верховьях Евфрата. Не найдя себя в обучении на скульптора, Лукиан взялся серьезно за риторику, изучал ее в таких центрах, как Эфес и Смирна. Закончив обучение, Лукиан попробовал стать адвокатом в Антиохии, но потерпел неудачу и стал сочинителем речей по заказу и одновременно – странствующим оратором. В таком амплуа он объездил Малую Азию и Грецию, Македонию и Италию. В Галлии он на некоторое время даже стал популярным учителем риторики. В процессе странствий Лукиан увлекся философией и к сорока годам забросил «чистую» риторику ради философии. Он жил в это время в Афинах. В ореоле славы Лукиан возвратился в родной город, где выступил перед согражданами с воспоминаниями о детстве и похвалой отчизне. Это произошло в начале 160-х годов. На склоне лет Лукиан вынужден служить, он занимал некоторое время крупный судейский пост в Александрии, но не удержался на нем. Последние годы жизни он вновь странствующий оратор⁹⁴.

Сновидение, или жизнь Лукиана

1. Я только что перестал ходить в школу и по годам был уже большим мальчиком, когда мой отец стал советоваться со своими друзьями, чему же теперь надо было бы учить меня. Большинство было того мнения, что настоящее образование стоит больших трудов, требует много времени, немало затрат и блестящего положения; наши же дела плохи и могут потребовать в скором времени поддержки со стороны. Если же я выучусь какому-нибудь простому ремеслу, то сначала я сам мог бы получать все необходимое от него и перестал бы быть дармоедом, достигнув такого возраста, а вскоре мог бы обрадовать отца, принося ему постоянно часть своего заработка.

2. Затем был поставлен на обсуждение второй вопрос – о том, какое ремесло считать лучшим, какому легче всего выучиться, какое наиболее подходило бы свободному человеку, – кроме того, такое, для которого было бы под рукой все необходимое, и, наконец, чтобы оно давало достаточный доход. И вот, когда каждый стал хвалить то или другое ремесло, смотря по тому, какое он считал лучшим или какое знал, отец, взглянув на моего дядю (надо сказать, что при обсуждении присутствовал дядя, брат матери, считавшийся прекрасным ваятелем), сказал: «Не подобает, чтобы одержало верх какое-либо другое ремесло, раз ты присутствуешь здесь; поэтому возьми вот этого, – и он показал на меня, – и научи его хорошо обделывать камень, уметь соединять отдельные части и быть хорошим ваятелем; он способен к подобным занятиям и, как ты ведь знаешь, имеет к этому природные дарования». Отец основывался на

⁹⁴ Фрагмент из книги «Сновидение, или Жизнь Лукиана» в переводе Э. Диль приводится по изданию: *Лукиан. Избранное*. М., 1987. С. 33–39. Здесь и в дальнейшем, если не указан автор вступительной статьи и примечаний, это значит, что сведения взяты из тех же изданий, что и сами тексты воспоминаний.

безделушках, которые я лепил из воска. Часто, когда меня отпускали учителя, я соскабливал с дощечки воск и лепил из него быков, лошадей или, клянусь Зевсом, даже людей, делая их, как находил отец, весьма похожими на живых. Учителя били меня тогда за эти проделки; теперь же мои способности заслужили мне похвалу, и все, помня мои прежние опыты ваяния, возлагали на меня верные надежды, что я в короткое время выучусь этому ремеслу.

3. Также и день оказался подходящим для начала моего учения, и меня сдали дяде, причем я, право, был не очень огорчен этим обстоятельством: мне казалось, что работа доставит приятное развлечение и даст случай похвастаться перед товарищами, если они увидят, как я делаю изображения богов и леплю различные фигурки для себя и для тех, которых предпочту другим. И, конечно, со мной случилось то же, что и со всеми начинающими. Дядя дал мне резец и велел осторожно обтесать плиту, лежавшую в мастерской, прибавив при этом обычное: «Начало – половина всего». Когда же я по неопытности нанес слишком сильный удар, плита треснула, а дядя, рассердившись, взял первую попавшуюся ему под руку палку и совсем не ласково и не убедительно стал посвящать меня в тайны ремесла, так что слезы были вступлением к моим занятиям ваянием.

4. Убежав от дяди, я вернулся домой, все время всхлипывая, с глазами полными слез, и рассказал про палку, показывая следы побоев. Я обвинял дядю в страшной дикости, добавив, что он поступил так со мной из зависти, боясь, чтобы я не превзошел его своим искусством. Моя мать рассердилась и очень бранила брата, а я к ночи заснул, весь в слезах и думая о палке.

5. Сказанное до сих пор звучит смешно и по-детски. То же, что вы услышите теперь, граждане, не так-то легко может быть обойдено молчанием, а рассчитано на внимательных слушателей. Ибо, чтобы сказать словами Гомера:

...в тишине амбросической ночи,

Дивный явился мне Сон, до того ясный, что он ни в чем не уступал истине. Еще и теперь, после многих лет, перед моим взором совершенно ясно стоят те же видения и слова их звучат у меня в ушах, до того все было отчетливо.

6. Две женщины, взяв меня за руки, стали порывисто и сильно тянуть, каждая к себе; они едва не разорвали меня на части, соперничая друг с другом в любви ко мне. То одна осиливала другую и почти захватывала меня, то другая была близка к тому, чтобы завладеть мной. Они громко препирались друг с другом. Одна кричала, что ее соперница хочет овладеть мной, тогда как я уже составляю ее собственность, а та – что она напрасно заявляет притязание на чужое достояние. Одна имела вид работницы, с мужскими чертами; волосы ее были растрепаны, руки в мозолях, платье было подоткнуто и полно осколками камня, совсем как у дяди, когда он обтесывал камни. У другой же были весьма приятные черты лица, благородный вид и одежда в изящных складках. Наконец они предложили мне рассудить, с которой из них я бы желал остаться. Первой заговорила та, у которой были мужские черты и грубый вид:

7. «Я, милый мальчик, Скульптура, которую ты вчера начал изучать, твоя знакомая и родственница со стороны матери: ведь твой дедушка (она назвала имя отца матери) и оба твои дяди занимались отделкой камня и пользовались немалым почетом благодаря мне. Если ты захочешь удержаться от глупостей и пустых слов, которым ты научишься от нее (она показала пальцем на другую), и решишься последовать за мной и жить вместе, то, во-первых, я тебя хорошо выращу и у тебя будут сильные плечи, а кроме того, к тебе не будут относиться враждебно, тебе никогда не придется странствовать по чужим городам, оставив отечество и родных, и никто не станет хвалить тебя только за твои слова.

8. Не гнушайся неопрятной внешности и грязной одежды: ведь начав с этого же, знаменитый Фидий явил людям впоследствии своего Зевса, Поликлет изваял Геру, Мирон добился славы, а Пракситель стал предметом удивления; и теперь им поклоняются, как богам. И если ты станешь похожим на одного из них, как же тебе не прославиться среди всех людей? Ты ведь и отца сделаешь предметом всеобщего уважения, и родина будет славна тобой...» Все это, и

гораздо большее, сказала мне Скульптура, запинаясь и вплетая в свою речь много варварских выражений, с трудом связывая слова и пытаясь меня убедить. Я и не помню остального; большинство ее слов уже исчезло из моей памяти. И вот, когда она кончила, другая начала приблизительно так:

9. «Дитя мое, я – Образованность, к которой ты ведь уже привык и которую знаешь, хотя еще и не использовал моей дружбы до конца. Первая женщина предсказала тебе, какие блага ты доставишь себе, если сделаешься каменотесом. Ты станешь самым простым ремесленником, утруждающим свое тело, на котором будут покоиться все надежды твоей жизни; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и невзрачный заработок. Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не станут спорить из-за тебя, враги не будут бояться тебя, сограждане – завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед сильным и служить тому, кто умеет хорошо говорить; ты станешь жить как заяц, которого все травят, и сделаешься добычей более сильного. И даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом и создал много дивных творений, то твое искусство все станут восхвалять, но никто, увидев эти произведения, не захочет быть таким, как ты, если он только в своем уме. Ведь все будут считать тебя тем, чем ты и окажешься на самом деле, – ремесленником, умеющим работать и жить трудом своих рук.

10. Если же ты послушаешься меня, то я познакомлю тебя сперва с многочисленными деяниями древних мужей, расскажу об их удивительных подвигах и речах – словом, сделаю тебя искусным во всяком знании. Я также украшу и душу твою тем, что является самым главным: многими хорошими качествами – благоразумием, справедливостью, благочестием, кротостью, добротой, рассудительностью, воздержанностью, любовью ко всему прекрасному, стремлением ко всему высшему, достойному почитания. Ведь все это и есть настоящее, ничем не оскверненное украшение души. От тебя не останется скрытым ни то, что было раньше, ни то, что должно совершиться теперь, мало того: с моей помощью ты увидишь и то, что должно произойти в будущем. И вообще всему, что существует, и божественному, и тому, что касается людей, я научу тебя в короткий срок.

11. И тогда ты, бедняк, сын простого человека, уже почти решившийся отдать себя столь неблагородному ремеслу, станешь в короткое время предметом всеобщей зависти и уважения. Тебя будут чтить и хвалить, ты станешь славен величайшими заслугами. Мужи, знатные родом или богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою, – а была она роскошно одета), ты будешь достоин занимать первые должности в городе и сидеть на почетном месте в театре. А если ты куда-нибудь отправишься путешествовать, то и в других странах ты не будешь неизвестен или незаметен: я окружу тебя такими отличиями, что каждый, кто увидит тебя, толкнет своего соседа и скажет “вот он”, показывая на тебя пальцем.

12. Если случится что-нибудь важное, касающееся твоих друзей или целого города, все взоры обратятся на тебя. А если тебе где-нибудь придется говорить речь, то почти все будут слушать раскрыв рты, удивляться силе твоих слов и считать счастливым твоего отца, имеющего такого знаменитого сына. Говорят, что некоторые люди делаются бессмертными; я доставлю тебе также это бессмертие. Если ты даже сам и уйдешь из этой жизни, то все же не перестанешь находиться среди образованных людей и быть в общении с лучшими. Посмотри, например, на знаменитого Демосфена – чей он был сын и чем сделала я его. Или вспомни Эсхина, сына танцовщицы: благодаря мне сам Филипп служил ему. Даже Сократ, воспитанный скульптурой, как только понял, в чем заключается лучшее, сразу же покинул ваение и перебежал ко мне. А ты ведь сам знаешь, что он у всех на устах.

13. И вот, бросив всех этих великих и знаменитых мужей, блестящие деяния, возвышенные речи, благородный вид, почести, славу, похвалу, почетные места и должности, влияние и власть, почет за речи и возможность быть славным за свой ум, ты решаешься надеть какой-

то грязный хитон и принять вид, мало чем отличающийся от раба. Ты собираешься сидеть, согнувшись над работой, имея в руках лом, резец и молот или долото, склонившись над работой и живя низменно и обыденно, никогда не поднимая головы и ничего не замышляя, что было бы достойно свободного человека, заботясь только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней».

14. Она еще говорила, а я, не дождавшись конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, пошел к Образованности с тем большей радостью, что помнил палку и то, как она всего только вчера нанесла мне немало ударов, когда я начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, негодуя, потрясала кулаками и скрежетала зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобею.

Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, вы все же поверьте: сны ведь – создатели чудес.

15. Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за твое справедливое решение нашего спора. Пойдем, взойди на эту колесницу, – она показала на какую-то колесницу, запряженную крылатыми конями, похожими на Пегаса, – и ты увидишь, чего бы ты лишился, если бы не последовал за мной». Когда мы взошли на колесницу, богиня погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, я стал озиаться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, сея что-то на землю, подобно Триптолему. Теперь я уже не помню, что я собственно сеял, – знаю только, что люди, глядя наверх вслед за мной, хвалили меня и благословляли мой дальнейший путь.

16. Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, богиня вернулась со мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но мне показалось, что я был в каком-то роскошном одеянии. Позвав моего отца, который стоял и ожидал меня, она показала ему эту одежду и меня в новом виде и напомнила ему относительно того решения, которое незадолго до этого хотели вынести о моей будущности.

Вот все, что я помню из того, что видел во сне, будучи еще подростком, – должно быть, под влиянием страха и ударов палки.

17. Во время моего рассказа кто-то сказал: «О, Геракл, что за длинный сон, совсем как судебная речь!» А другой подхватил: «Да, сон в зимнюю пору, когда ночи бывают длиннее всего, и, пожалуй, даже трехвечерний, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже отжили свой век? Ведь эти бредни уже выдохлись; не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и всем известный Ксенофонт, повествуя о своем сне, будто в доме отца вспыхнул пожар и прочее (вам это ведь знакомо), прошелся об этом не рассказа ради, не потому, что пожелал заниматься болтовней, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили его войско со всех сторон, – и все же рассказ этот оказал некоторую пользу.

18. И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к лучшему и стремились к образованию. И кроме того, что для меня важнее всего, если кто из них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, губя свои хорошие природные способности, то он, я совершенно в этом уверен, наберется новых сил, услышав этот рассказ и поставив меня в хороший пример себе, помня, что я, каким я был, возгорел стремлением к самому прекрасному и захотел быть образованным, нисколько не испугавшись своей тогдашней бедности, и помня также, каким я теперь вернулся к вам – во всяком случае не менее знаменитым, чем любой из ваятелей.

Григорий Чудотворец (ок. 213–ок. 270)

Епископ г. Неокесарии в Малой Азии, в отрочестве и юности – ученик знаменитого наставника и христианского философа Оригена, переехавшего из Александрии, где он преподавал в знаменитой Александрийской школе, будучи преемником Климента Александрийского, – в Кесарию Палестинскую. Выходец из богатой языческой семьи. Ушел из обычной школы в ученики к Оригену. Пробыв 5 лет с Оригеном, отправился в Неокесарию. Сумел во много раз увеличить там численность христианской общины.

Подробнее о нем см.: Сагарда Н. И. Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения и богословие. Петроград, 1916; Van Dam R. Hagiography and History: The Life of Gregory Thaumaturgus // Classical Antiquity. 1982. Vol. 1. No. 2. P. 272–308⁹⁵.

Благодарственная речь Оригену

V

48. Первоначальное мое воспитание от самого рождения проходило под наблюдением родителей, а нравы в отеческом доме отклонялись от пути истины. Что я освобожусь от них, этого, я думаю, и никто другой не ожидал, и не было никакой надежды у меня самого, так как я был еще дитятей и неразумным и находился под властью отца, преданного идолопоклонству.

49. Потом – потеря отца и сиротство, которое, может быть, было для меня началом истинного познания.

50. Ибо тогда в первый раз я обратился к спасительному и истинному слову, не знаю как [это произошло], более ли по принуждению или добровольно. Ибо какая способность суждения могла быть у меня в четырнадцатилетнем возрасте? Между тем с того времени это священное слово тотчас начало, так сказать, посещать меня, потому что в нем именно достиг полного выражения всеобщий разум человечества; однако, тогда оно посетило меня в первый раз.

51. Я считаю, – если и не издавна, то, по крайней мере, когда размышляю об этом теперь, – немаловажным признаком священного и дивного промысления обо мне именно это стечение обстоятельств, которое может быть так расчислено по годам, чтобы, с одной стороны, все, что предшествовало этому возрасту, насколько оно состояло из дел заблуждения, могло быть отнесено на счет моей незрелости и неразумия, и чтобы священное слово напрасно не было вверено душе, еще не владеющей разумом,

53. но, с другой стороны, чтобы, когда она сделается уже способною к разумной деятельности, она не была лишена, если даже и не божественного и чистого разума, то, по крайней мере, страха, сообразного с этим разумом, и чтобы человеческий и божественный разум одновременно достигли господства во мне, один – помогая мне неизъяснимой для меня, но ему свойственной силой, а другой – воспринимая эту помощь. <... >

56. Моей матери, которая одна из родителей осталась, чтобы заботиться обо мне, угодно было, воспитывая меня во всем прочем, как мальчиков не неблагородного, разумеется, происхождения и воспитания, послать меня в школу к ритору, так как я должен был сделаться риторм. И действительно, я посещал эту школу, и тогдашние сведущие люди уверяли, что

⁹⁵ Текст печатается в переводе Н. И. Сагарды по изданию: Творения Св. Григория Чудотворца и Св. Мефодия епископа и мученика. Пг. 1916; М., 1996. С. 18–52.

в непродолжительном времени я буду ритором; со своей стороны, я и не мог и не хотел бы утверждать этого.

57. Не было даже никакого основания для этого, но не было также еще и никаких предположений для причин, которые могли привести меня на настоящий путь. Но ведь у меня был неусыпный божественный воспитатель и истинный попечитель: он, когда ни домашние не помышляли, ни сам я не обнаруживал желаний,

58. внушил мысль одному из моих учителей, которому поручено было только наставить меня в латинском языке, – не для того, чтобы я достиг в нем совершенства, а чтобы я и в этом языке не был совершенно несведущим; но случайно он имел некоторые познания и в законах.

59. Внушивши ему эту мысль, он чрез него склонил меня изучать римские законы. И муж тот делал это с большой настойчивостью. Я позволил убедить себя, но больше из желания доставить удовольствие мужу, чем из любви к тому знанию.

60. Он, взявши меня в качестве ученика, начал учить с большим усердием. При этом он высказал нечто, что сбылось на мне самым истинным образом, именно, что изучение законов будет для меня самым важным запасом на [жизненный] путь,... захочу ли я быть ритором из тех, которые выступают в судах, или каким-либо иным.

61. Он выразился так, имея в виду в своей речи человеческие отношения; а мне прямо кажется, что он предсказывал истину, объятый некоторым вдохновением, которое было скорее божественным, чем происходило из его собственных мыслей.

62. Ибо когда я волей-неволей начал изучать названные законы, то на меня уже некоторым образом наложены были оковы, и город Берит должен был послужить и причиной и поводом моего пути сюда. Этот город находился недалеко от тогдашнего моего местопребывания, имел, так сказать, более римский отпечаток и считался рассадником названного законоведения.

63. А этого священного мужа [Оригена] другие дела как бы навстречу мне влекли и привели в эту страну из Египта, из города Александрии, где он жил прежде. <... >

65. Как же и это осуществилось? Тогдашний правитель Палестины неожиданно взял к себе моего зятя [шурина – *ред.*], мужа моей сестры, и против его желания одного только, разлучивши с супругой, переместил его сюда, чтобы он помогал ему и разделял с ним труды по управлению народом, – ибо он был несколько сведущ в законах и, без сомнения, еще и теперь.

66. Зять, отправившись вместе с ним, намерен был в непродолжительном времени послать за женой и взять ее к себе, так как разлука с ней была для него тягостна и неприятна; но вместе с ней он хотел увлечь и меня.

67. Таким образом, когда я замыслил отправиться в путешествие, не знаю куда, но во всяком случае скорее в другое какое-либо место, чем сюда, неожиданно явился передо мной воин, которому поручено было сопровождать и охранять мою сестру, направляющуюся к мужу, а вместе с ней, в качестве спутника, привести и меня.

68. Этим я должен был доставить удовольствие и зятю, и в особенности сестре, чтобы она не натолкнулась на что-либо неблагопристойное, или чтобы не боялась путешествия, точно также и самим домашним и родственникам, которые высоко ценили меня, и кроме того могли и в чем-нибудь ином оказать мне немалую пользу, если бы я отправился в Берит, усердно занявшись там изучением законов.

69. Итак, все побуждало меня [к этому путешествию] – убедительные основания, которые приводили мне по отношению к сестре, моя собственная наука, к тому же еще и воин, – ибо и о нем должно упомянуть, – который принес с собой разрешение на большее количество, чем нужно было, государственных колесниц и подорожные в большем числе, именно скорее для меня, чем для одной только сестры.

70. Такова была видимая сторона дела; но были и причины, которые хотя и не были явны, тем не менее были самыми истинными: общение с этим мужем, истинное научение через него

о Слове, польза, которую я должен был получить от этого для спасения моей души, – [все это] вело меня сюда, – хотя я был слеп и не сознавал этого, но это служило к моему спасению.

71. Итак, не воин, но некий божественный спутник и добрый провожатый и страж, сохраняющий меня на протяжении всей этой жизни как бы на далеком пути, миновавши другие места и самый Берит, ради которого больше всего я думал устремиться сюда, привел меня в это место и здесь остановил; он все делал и приводил в движение, пока со всем искусством не связал меня с этим виновником для меня многих благ.

72. И божественный ангел, после того как прошел со мной так далеко и передал руководство мной этому мужу, здесь, вероятно, успокоился, не от усталости или изнурения, – ибо род божественных слуг не знает усталости, – но потому что он передал меня мужу, который должен исполнить все, насколько возможно, промышление и попечение обо мне.

VI

73. Он же, принявши меня к себе, с первого дня, который был для меня поистине первым, если можно сказать, драгоценнейшим из всех дней, когда для меня впервые начало восходить истинное солнце, прежде всего приложил всякое старание к тому, чтобы привязать меня к себе, в то время как я, подобно зверям, рыбам или птицам, попавшим в силки или в сети, но старающимся ускользнуть и убежать, хотел удалиться от него в Берит или в отечество.

74. Он употреблял всевозможные доводы, трогал, как говорит пословица, за всякую веревку, прилагал все свои силы.

75. Он восхвалял философию и любителей философии обширными, многочисленными и приличествующими похвалами, говоря, что они одни живут жизнью, поистине приличной разумным существам, так как они стремятся жить правильно и [прежде всего] достигают знания о самих себе, каковы они, а затем об истинно благом, к чему человек должен стремиться, и об истинно злом, чего должен избегать.

76. С другой стороны, он порицал невежество и всех невежественных; а таких много, которые, наподобие скота, слепотствуют умом, не знают даже того, что они блуждают, как будто не имеют разума, и вообще не знают и не хотят узнавать, в чем действительная сущность добра и зла, как на благо устремляются и жаждут денег, славы и почета со стороны толпы и благосостояния тела,

77. ценят это выше многого и даже всего; – из искусств те, которые могут доставить эти блага, а из родов жизни те, которые подают надежду на них: военную службу, судебную и изучение законов. Это, – так говорил он с особенной настойчивостью и большим искусством, – то, что возбуждает нас, если мы оставляем в пренебрежении наш разум, который, однако, как он говорит, больше всего из нас призван к господству.

78. Я теперь не могу сказать, сколько такого рода изречений он произнес, убеждая меня к изучению философии; не один только день, но много дней вначале, когда я приходил к нему. Я поражен был его речью, как стрелой, и именно с первого дня, – ибо речь его представляла в некотором роде смешение приятной привлекательности, убедительности и какой-то принудительной силы, – но я все еще колебался и обдумывал, и я решился заняться философией, еще не будучи совершенно убежден, но, с другой стороны, я не мог, не знаю почему, и удалиться от него, а все более и более привлекался к нему его речами, как бы силою какого-то высшего принуждения.

79. Он утверждал именно, что совершенно невозможно даже почитать Владыку всего, – это преимущество, обладать которым между всеми живыми существами на земле почтен и удостоен один только человек; и им естественно владеет всякий, кто бы он ни был, мудрый или невежественный, лишь бы только он совершенно не потерял вследствие какого-либо умопоме-

шательства способности мышления; таким образом, даже богопочтение он, говоря правильно, объявлял совершенно невозможным для того, кто не занимается философией.

80. Он внушал мне множество такого рода оснований одни за другими до тех пор, пока, как бы зачарованного его искусством, не привел к цели без малейшего движения [противодействия с моей стороны], и не знаю, каким образом своими речами, как бы с помощью некоторой божественной силы, прочно посадил меня подле себя.

81. Ибо он поразил меня и жалом дружбы, с которым нелегко бороться, острым и сильноедействующим жалом умелого обращения и доброго расположения, которое, как благожелательное ко мне, обнаруживалось в самом тоне его голоса, когда он обращался ко мне и беседовал со мной. Он стремился не просто одолеть меня своими доводами, но благоприятным, человеколюбивым и благородным расположением спасти и сделать причастником как тех благ, которые проистекают из философии,

82. так и других, особенно тех, которые Божество даровало ему одному превыше многих, или, может быть, превыше и всех нынешних людей,... спасительное Слово, которое ко многим приходит и всех, с кем только встречается, покоряет, – ибо нет ничего, что могло бы противостоять Ему, так как Оно есть и будет царем всего, – но Оно сокровенно и многими не только с легкостью, но и с трудом не познается в такой степени, чтобы, если их спросят о Нем, могли дать ясный ответ.

83. Подобно искре, попавшей в самую душу мою, возгорелась и воспламенилась моя любовь как к священному, достойнейшему любви самому слову, Которое, в силу своей неизреченной красоты, привлекательнее всего, так и к сему мужу, Его другу и глашатаю.

84. В высшей степени пораженный ею, я был убежден пренебречь всеми делами или науками, которые, как казалось, были приличны мне, как другими, так даже самыми моими прекрасными законами, [далее] моим отечеством и моими родственниками, как теми, которые были здесь, так и тою [то есть матерью], от которой я уехал; одно было для меня дорого и любезно – философия и руководитель в ней, этот божественный человек.

85. «И соединилась душа Ионафана с Давидом» (1 Цар 18:1). Это позднее прочитал я в Священном Писании, но и прежде я чувствовал это не менее ясно, чем сказано [в этом изречении], однако [здесь] это предсказано очень ясно. <... >

92. Таковыми узами, так сказать, крепко связавши, этот Давид держит меня не только теперь, но уже с того времени, и если бы я даже захотел, то не мог бы уже освободиться от его уз. Если бы я даже и ушел отсюда, то и тогда он не освободит моей души, которую он, по божественному Писанию, держит столь крепко связанной.

VII

93. Впрочем, после того как он с самого начала таким образом захватил меня и всеми возможными способами преодолел, и после того, как им было достигнуто главное, и я решил остаться, с того времени он [начал поступать со мной] подобно тому, как поступает хороший земледелец с землей, которая не возделана и действительно никаким образом не плодородна, но соленая и сожженная, каменистая и песчаная, или даже с такою, которая и не совсем бесплодна и по крайней мере не лишена растительности, но [напротив] даже тучная и однако не возделана и оставлена в пренебрежении, поросла тернием и диким кустарником и с трудом поддается обработке;

94. или как садовник с деревом, которое, правда, дико и не приносит благородных плодов, однако не совсем негодно, если кто с искусством садовника возьмет благородный росток и привьет ему, [сначала] сделавши расщелину посреди, потом опять соединивши и связавши, пока оба не срастутся в одно, как два слившихся источника, – ибо можно видеть в некотором роде так смешанное дерево, правда, не настоящей породы, но из бесплодного сделавшееся пло-

довитым, на диких корнях приносящее плоды прекрасной маслины. Или с деревом, которое хотя и дико, но несмотря на это бесполезно для искусного садовника, или и с благородным деревом, которое приносит добрые плоды, но иначе, чем следует, или с деревом, которое по недостатку искусства не обрезано, не полито и запущено и задушено многими лишними ростками, которые на нем бесцельно вырастают и взаимно мешают достигать совершенства в росте и приносить плоды.

95. Так он овладел мною и со свойственным ему искусством как бы земледельца осмотрел и проник не только в то, что видимо всем и усматривается на поверхности, но глубоко вскопал и исследовал самые внутренние основания, ставя вопросы, предлагая и выслушивая мои ответы; когда он усматривал во мне что-либо не непригодное, не бесполезное и не исключющее надежды на успех,

96. он начинал вскапывать, перепаживать, поливать, все приводил в движение, прилагал все свое искусство и заботливость и тщательно возделывал меня. Терние и волчцы и всякий род диких трав и растений, сколько их в моем изобилии произрастила и произвела моя беспокойная душа, так как она была неупорядочена и нерассудительна, – все это он обрезывал и удалял своими изобличениями и запрещениями.

97. Он нападал на меня и особенно своим сократическим способом доказательства иногда повергал меня на землю, если видел, что я, как дикая лошадь, совершенно сбрасывал узду, выскакивал за дорогу и часто бесцельно бегал кругом, пока убеждением и как бы принудительною силою – доказательством из моих собственных уст, как уздою, снова делал меня спокойным.

98. Сначала мне было тягостно и не безболезненно, когда он приводил свои доказательства, так как я не привык еще к этому и не упражнялся в том, чтобы подчиняться доводам разума; но вместе с тем он и очищал меня.

Но как только он сделал меня способным и хорошо приготовил к принятию доказательств истины,

99. тогда-то, как обработанную и мягкую землю, готовую возрастить брошенные в нее семена, он обильно засеял; благовременно он и посев произвел, благовременно и весь остальной уход совершал, все надлежащим образом и соответственными средствами слова.

100. Все, что было в моей душе притуплено и извращено, потому ли, что от природы она была такова, или потому, что вследствие чрезмерного питания тела она огрубела, он возбуждал и ослаблял своими утонченными доводами и приемами логических построений,

101. которые, последовательно развертываясь из самых простейших предположений и разнообразно переплетаясь друг с другом, развиваются в какую-то необыкновенную и трудно-разрываемую ткань; они пробуждают меня как бы ото сна и научают всегда держаться поставленной перед собой цели, ни в каком случае не уклоняясь с прямого пути ни вследствие отдаленности ее, ни вследствие ее утонченности.

102. А что было во мне не взвешено и не обдуманно, потому ли, что я соглашался с тем, что первое попадалось, каково бы оно ни было, даже если оно было ложным, или потому, что я часто возражал, даже если бы высказано было что-либо истинное, – и это он исправлял как прежде названными, так и другими разнообразными доводами. Ибо многообразна эта часть философии [то есть диалектика], приучающая не безрассудно и не как случится то соглашаться на доказательства, то отклонять их, но точно исследовать не только то, что бросается в глаза,

103. ибо много замечательного самого по себе и блестящего под покровом благородных речей проникло в мои уши, как если бы оно было истинным, тогда как на самом деле оно было внутри испорчено и лживо, но вырывало у меня и получало признание своей истинности, а спустя немного изобличалось как дурное и недостойное доверия, напрасно притворявшееся истиной, – и он легко показывал мне, что я смешным образом был обманут и необдуманно свидетельствовал о том, о чем менее всего должно было свидетельствовать.

104. Наоборот, опять другое превосходное, но не выступающее напыщенно или не обремененное в вызывающие доверие выражения, мне казалось противным здравому смыслу и в высшей степени недостоверным и просто отвергалось, как ложное, и недостойным образом подвергалось поруганию, но позднее, когда я основательно исследовал и обдумывал, я узнавал, что то, что я дотоле считал заслуживающим быть отвергнутым и негодным, в высшей степени истинно и совершенно непреодолимо, —

105. [так вот говорю], он учил, что должно основательно исследовать и испытывать не только внешнюю сторону и то, что заметно выделяется, — оно бывает иногда обманчиво и коварно рассчитано, — но внутреннюю сущность каждой отдельной вещи, не обнаружится ли где-либо фальшивого звука, и прежде всего самому убедиться в этом и только тогда соглашаться с внешним впечатлением и высказывать суждение относительно каждого отдельного явления.

106. Так развивал он по законам логики способность моей души критически судить относительно отдельных выражений и целых речей,

107. а не так, как блестящие риторы, которые судят по тому, есть ли в выражении что-либо эллинское или варварское, — это знание имеет мало значения и не необходимо.

108. Но то знание в высшей степени необходимо для эллинов и для варваров, для мудрых и невежественных и вообще, — чтобы речь моя не была длинною от подробного перечисления всех в частности наук и занятий, — для всех людей, какую бы род жизни они ни избрали, поскольку по крайней мере у всех, кто ведет с другими речь о каком бы то ни было предмете, есть забота и старание не быть обманутыми.

VIII

109. Но он стремился возбудить и развить не только эту сторону моей души, правильная постановка которой принадлежит одной только диалектике, но также и низшую часть моей души: я был изумлен величием и чудесами, а также разнообразным и премудрым устройством мира, и я дивился, хотя и без разумения, и совершенно поражен был глубоким благоговением, но подобно неразумным животным не умел ничего объяснить, —

110. [так он возбуждал и развивал во мне эту способность] другими отраслями знаний, именно посредством естественных наук он объяснял и исследовал каждый предмет в отдельности и притом весьма точно до самых первоначальных элементов, потом связывал это своей мыслью и проникал в природу как всего в совокупности, так и каждого предмета в отдельности, и следил за многообразным изменением и превращением [всего] сущего в мире,

111. до тех пор, пока своим ясным научением и доводами, которые он частью усвоил от других, частью сам придумал, не принес и не вложил в мою душу вместо неразумного разумное удивление относительно священного управления вселенной и совершеннейшим образом устроенной природы.

112. Этому возвышенному и божественному знанию научает для всех возлюбленная физиология.

113. Что же я должен сказать о священных науках — всем любезной и бесспорной геометрии и парящей в высотах астрономии? И все это он напечатлевал в моей душе, научая или вызывая в памяти, или не знаю, как нужно сказать.

114. Первую, именно геометрию, так как она непоколебима, он просто делал как бы опорой всего и, так сказать, крепким основанием; а возводя до высочайших областей посредством астрономии, он через обе названные науки как бы посредством лестницы, возвышающейся до небес, делал для меня доступным небо.

IX

115. Но, что важнее всего и ради чего больше всего трудятся все философы, собирая как бы из разнородного насаждения всех прочих наук и продолжительного занятия философией добрые плоды, именно божественные добродетели нравственного характера, посредством которых душевные силы достигают невозмутимого и уравновешенного состояния, —

116. [к этому стремился] и он, [когда] намеревался сделать меня невосприимчивым к скорбям и нечувствительным ко всякого рода бедствиям, напротив, внутренне упорядоченным, уравновешенным и поистине богоподобным и блаженным.

117. И этого он старался достигнуть свойственными ему мягкими и мудрыми, но вместе с тем и особенно настойчивыми речами, относительно моего характера и образа жизни.

118. И он управлял моими внутренними движениями не только своими речами, но в известном смысле также и своими делами, именно посредством исследования и наблюдения душевных движений и чувств, — так как наша душа обыкновенно скорее всего тогда и приводится в порядок из расстройства, когда последнее познается, и из состояния смятения она переходит в определенное и хорошо упорядоченное, —

119. чтобы она как в зеркале созерцала самое себя, именно самые начала и корни зла, всю свою неразумную сущность, из которой истекают наши непристойные страсти, а с другой стороны все, что составляет наилучшую часть ее — разум, под господством которого она пребывает сама по себе невредимой и бесстрастной.

120. Потом, точно взвесивши это в себе самой, она все то, что происходит из низшей природы, ослабляет нас распушенностью или подавляет и угнетает нас унынием, как, например, чувственные удовольствия и похоти или печаль и страх и весь ряд бедствий, которые следуют за этого рода состояниями, — все это она должна вытеснить и устранить, восставая против них при самом возникновении и первом возрастании их, и не допускать даже малейшего увеличения их, но уничтожать и заставлять бесследно исчезать.

121. А что, напротив, истекает из лучшей части и благо для нас, то она должна воспитывать и поддерживать, заботливо ухаживая за ним в самом начале и охраняя, пока оно не достигнет совершенного развития.

122. Ибо таким способом [по его мнению] душа могла бы со временем усвоить божественные добродетели, именно благоразумие, которое прежде всего в состоянии определить эти самые движения души, так как на основе их происходит познание и относительно того, что вне нас, каково бы оно ни было, — [познание] доброго и злого; и умеренность, эту способность, которая в самом начале может сделать в этом правильный выбор; и справедливость, которая каждому воздает должное; и спасение всех этих [добродетелей] — мужество.

123. Впрочем, не речами, которые он произносил, он приучал меня к тому, что благоразумие есть знание доброго и злого или того, что должно делать и чего не должно делать, — это, несомненно, было бы пустой и бесполезной наукой, если бы слово было несогласно с делами и благоразумие не делало того, что должно делать, и не отвращалось от того, чего не должно делать, и однако тем, которые обладают им, доставляло относящееся к этому знание, как мы видим на многих. <... >

X

132. Я хочу открыто высказать только то, что я испытал на самом себе, без какого-либо противопоставления и без каких-либо искусственных приемов в речи.

XI

133. Этот муж был первый и единственный, который склонил меня заняться также изучением эллинской философии, убедивши меня своим собственным образом жизни, и выслушать его речь о правилах жизни и внимательно следовать ей,

134. тогда как, насколько это зависело бы от других философов, – снова признаюсь в этом, – я не был бы убежден; конечно, с одной стороны, я был неправ, но с другой, это должно было бы явиться для меня почти несчастьем. Правда, вначале я входил в соприкосновение не с очень многими, а только с некоторыми, которые объявляли себя учителями в ней, однако все в своей философии не поднимались выше простых речей.

135. А он был первый, который и словами побуждал меня к занятию философией, упреждая делами побуждение посредством слов; он не сообщал только заученных изречений, но не считал достойным даже и говорить, если бы не делал этого с чистым намерением и стремлением осуществить сказанное; и скорее он старался показать себя таким, каким в своих речах изображал того, кто намерен жить надлежащим образом, и предлагал, – я охотно сказал бы, – образец мудрого. <... >

137. Кроме того, он стремился и меня преобразовать в этом роде, чтобы я овладел и понимал не только речи о душевных движениях, но и самые эти движения. Он особенно налегал на дела и слова [вместе] и при самом теоретическом научении представлял мне не малую часть каждой отдельной добродетели, может быть, он привел бы и всю, если бы я мог вместить.

138. Он принуждал меня, если так можно сказать, поступать справедливо посредством деятельности своей собственной души, присоединиться к которой он убедительно побуждал меня, отклоняя меня от многопопечительности, какой требует повседневная жизнь, и беспокойств общественного служения, напротив, побуждая тщательно исследовать самого себя и делать то, что является поистине собственным делом. <... >

141. С другой стороны, он не менее учил быть благоразумным, именно, чтобы душа моя была обращена к самой себе и чтобы я желал и стремился познать самого себя. Это действительно – самая прекрасная задача философии, которая именно приписана и преимущественнейшему из пророческих духов [Аполлону], как мудрейшее повеление: познай самого себя.

142. А что это действительно задача благоразумия и что это есть божественное благоразумие, прекрасно сказано древними, так как в действительности божественная и человеческая добродетель одна и та же, поскольку душа упражняется в том, чтобы видеть себя самое как бы в зеркале, и отражает в себе божественный ум, если оказывается достойной этого общения, и [таким образом] отыскивает некоторый неизреченный путь к обожению. <... >

148. Своей собственной добродетелью он внушил мне любовь и к красоте справедливости, истинно золотое лицо которой он показал мне, и любовь к благоразумию, которое должно быть предметом стремления для всех, и любовь к истинной мудрости, в высшей степени достойной любви, любовь к богоподобной умеренности, которая есть уравновешенность и мир души для всех, стяжавших ее, и любовь к достойнейшему удивления мужеству,

149. любовь к нашему терпению и прежде всего любовь к благочестию, которое справедливо называют матерью всех добродетелей, ибо оно – начало и конец всех добродетелей. Если бы от него начинали, то и все остальные добродетели в высшей степени легко появились бы у нас. Если бы мы желали и стремились к тому, к чему должен стремиться каждый человек, если он только не безбожник и не предан чувственным удовольствиям, именно к тому, чтобы сделаться другом и защитником славы Божией, мы заботились бы и о прочих добродетелях, чтобы нам приближаться к Богу не в состоянии недостойности и нечистоты, но со всякой добродетелью и мудростью, как бы с добрым провожатым и мудрейшим священником. Цель же

всего, я думаю, не иная, как та, чтобы, чистым умом уподобившись Богу, приблизиться к Нему и пребывать в Нем. <... >

XIV

171. Но он и сам шел вместе со мной впереди меня и вел меня за руку, как бы во время путешествия, на тот случай, если встретится на пути что-либо неровное, потайное или коварное. Подобно тому, как сведущий человек, для которого вследствие продолжительного обращения с речами, нет ничего, в чем бы он не имел навыка или опыта, не только сам оставался бы вверху на твердом месте, но и другим протягивал бы руку и спасал, извлекая их, как бы погружающихся в воду;

172. так и он собирал все, что у каждого философа было полезного и истинного, и предлагал мне,

173. а что было ложно, выделял... в особенности то, что по отношению к благочестию было собственным делом людей. <...>

XV

183. Коротко сказать, он был для меня поистине раем, воспроизведением того великого рая Божия, в котором не нужно было обрабатывать эту низменную землю и, огрубевши, питать тело, но только с радостью и наслаждением умножать стяжания души, как бы цветущие растения, насажденные нами самими или посаженные в нас Виновником всего.

Либаний (314–393)

Крупнейший ритор и один из последних идеологов Античности, Либаний родился в г. Антиохии, культурном центре греческого Востока и всей Римской империи, распавшейся через два года после смерти Либания на Западную и Восточную. Семья его принадлежала к высшей городской аристократии, но сильно пострадала от репрессий во времена императора Диоклетиана. Получив традиционное воспитание, Либаний в возрасте пятнадцати лет увлекся риторикой. Окончательно решив заняться искусством красноречия, он в 336 г. отправляется в Афины и через пять лет становится странствующим преподавателем в различных городах Греции и Малой Азии. Наибольший успех имела открытая Либанием школа в г. Никомидии, где он был наставником Василия Великого, а также Григория Нисского, будущего императора Юлиана.

Победа на состязании риторов обеспечила Либанию вызов в Константинополь в качестве императорского ритора. Однако спустя пять лет Либаний добился разрешения жить в своем родном городе Антиохии. Он становится городским наставником, оратором и педагогом. Впоследствии ему присвоили титул префекта претория, приравнявший его к высшим сановникам Римской империи.

Последняя часть жизни Либания прошла под знаком падения престижа светского ораторского искусства, сокращения числа учеников в риторских школах. Именно на это время, 388–393 гг., приходится сочинение им автобиографии, где ярко отражен уходящий идеал античного образования как подготовки воспитанного на классических литературных образцах общественного человека, владеющего мастерством оратора. В нашей антологии мы приводим отрывок из начала автобиографии, где Либаний описывает свое детство⁹⁶.

Жизнь, или о собственной доле

4.... отец мой, имея трех детей, из коих я был средним, умер раньше зрелого возраста, получил он в приданое небольшую часть из значительного состояния, и тотчас в распоряжение им вступает отец матери. Мать же, побоявшись недобросовестности опекунов и, вследствие скромности, необходимости входить с ними в переговоры, сама желая быть для нас всем, все прочее попечение сохранила вполне за собою ценою большого труда, а за ученье платила деньги наставникам и не умела сердиться на ленивого сына, считая делом любящей матери никогда ни в чем не огорчать свое чадо, так что большая часть года у меня уходила на прогулки по полям более, чем на ученье.

5. После того как у меня прошло таким образом четыре года, я достиг пятнадцатилетия и мною овладела горячая любовь к красноречию, и в такой степени, что утехи полей были забыты, проданы голуби, ручные птицы, страсть к коим способна заполнить юношу, состязания коней, сценические представления, все было в забросе. И чем я особенно поразил и молодежь, и стариков, я воздерживался от посещения тех единоборств, где падали и побеждали мужи, которых можно было назвать учениками тех трехсот, что были при Фермопилах. <... >

8. Затем, опять-таки, посещение школы учителя, изливавшего красоту словес, доля ученика счастливого, а я посещал его не так много, как бы следовало, но до времени исполнял это только для приличия – посещал. А когда меня воодушевила любовь к учению, я уже не имел того, кто должен был сообщать мне его, так как тот поток уже погас, доля несчастного.

⁹⁶ Фрагмент «Жизни, или О собственной доле» печатается в переводе С. Шестакова по изданию: Речи Либания. Казань, 1914. Т. 1. С. 4–7, с изм.

Итак, тоскуя по тому, кого уже не было, и пользуясь руководством тех, кто был лишь каким-то призраком софистов⁹⁷, словно те люди, что питаются ячменным хлебом вместо хлеба высшего качества, – так как нimalo не успевал, но грозила опасность, следуя слепым руководителям, впасть в бездну невежества, я с ними расстался и, дав отдых душе от творчества, а языку от речей, руке же от письма, занимался только одним – заучивал наизусть произведения древних при содействии человека, одаренного чрезвычайной памятью и способного делать юношей сведущими в красотах тех писателей. И я настолько ревностно был привержен этому, что, даже когда он отпускал юношей, не покидал его, но и на пути через площадь в руках у меня была книга. Учителю приходилось даже прибегать к настоящему требованию, которым он в ту минуту явно тяготился, а позднее хвалил.

9. Так прошло пять лет, в течение коих вся душа моя обращена была к этим занятиям, и божество содействовало тому, не прерывая хода учения. <... >

11. Итак, когда в душе образовался запас произведений людей, могуществом своего слова больше всех прочих вызывавших общее восхищение, и меня потянуло к действительной жизни... а был у меня друг... Ясион, поздно приступивший к риторике, но в своем трудолюбии обретавший удовольствие не менее кого-либо другого, – этот Ясион чуть не ежедневно рассказывал мне о том, что слышал от людей старшего поколения об Афинах и тамошней деятельности, сообщая о каких-то Каллиниках и Тлеполемах, и мощи слова немалого числа других софистов, и о речах, в каких они одерживали победы друг над другом или терпели поражения. Под влиянием этих рассказов душой моей овладевало горячее желание посетить этот город. <... >

⁹⁷ Софист – в Античности философ и ритор, обучающий других за плату, учитель высокой квалификации.

Аврелий Августин (354–430)

Аврелий Августин – епископ г. Гиппон (Северная Африка), один из самых выдающихся христианских теологов и церковных деятелей, величайший философ раннего христианства. В его учении религиозные идеи Нового Завета органично слились с греческой философией Платоновой традиции, составив основу как средневекового римского католицизма, так и позднее протестантизма.

Августин родился в семье среднего достатка в городе Тагаст (Северная Африка). Его отец Патриций был язычником, мать Моника – христианкой. Она много заботилась о спасении сына, но не могла пойти против воли мужа и крестить его в детстве. Учеба давалась Августину легко. Хотя он и не отличался особым прилежанием, его успехи в науках были настолько заметны, что все сулили ему блестящую карьеру. В 19 лет, прочитав один из трактатов Цицерона, Августин почувствовал страсть к философии и решил целиком посвятить себя ей.

Сначала, поскольку христианская вера тогда казалась ему недостаточно «философской», он обратился к манихейству – возникшей в Персии религии, которая представляла собой синкретический сплав христианства и зороастризма и др. В это время Августин сблизился с некоей женщиной низкого происхождения (имени ее мы не знаем), которая оставалась с ним на протяжении многих лет и от которой у него родился сын. В 28 лет для Августина наступает период разочарования в манихействе. Он покидает Карфаген и отправляется сначала в Рим, а затем в Милан.

Здесь, в Милане, он встретился с одним из самых известных религиозных деятелей его времени Амвросием Медиоланским (ок. 340–379), проповеди которого освободили Августина от предубеждений против христианской веры. Подлинным откровением для него стали также трактаты знаменитого толкователя Платона – Плотина, спиритуалистическая образность учения которого (позднее оно стало называться неоплатонизмом) широко использовалась христианами. Тогда же в Милан приезжает мать Августина, общение с которой сыграло не последнюю роль в его окончательном решении стать христианином.

Непосредственным толчком к принятию крещения (оно состоялось 24 апреля 387 г.), по словам Августина, стало чудо – таинственный голос с небес повелел ему обратиться к Евангелию. Это событие ознаменовало крутой поворот в его жизни. Он вскоре покидает Милан, оставляя и блестящую карьеру, и свою возлюбленную, и возвращается в родной город, где основывает небольшую монастырскую общину. Через некоторое время он принимает священнический сан, а в 395 г. посвящается в сан епископа. Августин много сил отдает борьбе с ересями, составлению проповедей, переписке со своими духовными детьми, исполнению обязанностей церковного судьи.

Главным делом в служении Богу для Августина, однако, стала писательская деятельность. В числе оставленных им многочисленных сочинений (в новом издании они составляют 16 томов) – проповедей, диалогов, посланий, комментариев, трактатов – находится и стоящая несколько обособленно автобиографическая «Исповедь».

«Исповедь» была написана около 400 г., когда ее автору было уже полных 45 лет (по тем временам возраст вполне почтенный). В ней Августин рассказывает историю своего детства, беспокойной молодости, исканий зрелого возраста, завершившихся принятием им христианства. Таким образом, внешние события его жизни и его душевные переживания в «Исповеди» (кн. I–IX) – это лишь ступени, по которым автор движется к богословской цели сочинения: открытию пути к постижению Господа (кн. X–XIII).

Рассказ Августина о себе, отличающийся экспрессивным лиризмом интонаций, в значительной мере посвящен изображению внутреннего мира автобиографического героя. Особое

место занимают в нем окрашенные необычайной психологической глубиной и драматизмом описания нравственных конфликтов. Личностная перспектива рассказа при этом тесно переплетается с трансцендентной, с идеей предопределения, ставящей нравственный выбор человека в зависимость от Божественной воли.

То, что мы называем сегодня детством, в «Исповеди» (ее автор вполне разделяет здесь позднеантичные представления о семи периодах человеческой жизни) охватывает три «возраста»: внутриутробный (*primordia*); младенческий (*infantia*) – от рождения до появления речи; и детский (*pueritia*) – от появления речи до наступления половой зрелости. Августин подробно рассказывает о том, каким он был в каждом из этих (за исключением внутриутробного) возрастов, опираясь не только на свою память, но и на то, что он слышал от других. Отличительной особенностью этого рассказа является безусловное признание изначальности собственной греховности, которая в представлении Августина является результатом первородного греха⁹⁸.

Исповедь

Книга 1

Что хочу я сказать, Господи Боже мой? – только, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Меня встретило утешением милосердие Твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени; сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя и не кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу по установлению Твоему и по богатствам Твоим, распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем Ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что Ты давал им. По внушенной Тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от Тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от Тебя все блага, и от Господа моего все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя Ты зывал ко мне и тогда – дарами извне и в меня вложенными. Уже тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств – пока это было все.

Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что то же я видел и у других младенцев: сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я; хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким внешним чувством не могли они войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, – но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать, и что я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои. <...>

Исповедую Тебя, Господи неба и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. Да, я был и жил тогда и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. <...>

⁹⁸ Текст сочинения в переводе М. Е. Сергеевского публикуется по изданию: Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991. С. 56–85.

Услыши, Господи! Горе грехам людским. И человек говорит это, и Ты жалеешь его, ибо Ты создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе младенчества моего? Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе?

Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что, плача, тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас и, разинув рот, потянусь не то что к груди, а к пище, подходящей моему возрасту, то меня по всей справедливости осмеют и выбранят. И тогда, следовательно, я заслуживал брани, но так как я не мог понять бранившего, то было и не принято и не разумно бранить меня. С возрастом мы искореняем и отбрасываем такие привычки. Я не видел сведущего человека, который, подчищая растение, выбрасывал бы хорошие ветви. Хорошо ли, однако, было даже для своего возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы ко вреду? жестоко негодовать на людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию потому, что они не слушались приказаний, послушаться которых было бы губительно? Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку: он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю какими средствами. Может быть, и это невинность, при источнике молока, щедро изливающимся и преизбыточном, не выносить товарища, совершенно беспомощного, живущего одной только этой пищей? Все эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому, что с годами этой пройдет. И Ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в возрасте более старшем. <...>

... Этот возраст, Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого полагаюсь на других и в котором, как я догадываюсь по другим младенцам, я как-то действовал, мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, причислять к этой моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период этот равен тому, который я провел в материнском чреве. И если «я зачат в беззаконии, и во грехах питала меня мать во чреве»⁹⁹, то где, Боже мой, где, Господи, я, раб Твой, где и когда был невинным? Нет, пропускаю это время; и что мне до него, когда я не могу отыскать никаких следов его?

Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло – куда оно ушло? и все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а мальчиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выразить свои желания,

⁹⁹ Пс 50:7.

начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил; я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших.

Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует: слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били; старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить; умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая Тебя в меру сил своих, что Ты Кто-то Большой и можешь, даже оставаясь скрытым для наших чувств, услышать нас и помочь нам. И я начал молиться Тебе, «Помощь моя и Прибежище мое»¹⁰⁰, и, взывая к Тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня – что было не во вред мне, – то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключалось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем.

Есть ли, Господи, человек, столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, есть ли, говорю я, человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыба, кошки и тому подобные мучения, об избавлении от которых повсеместно с великим трепетом умоляют Тебя, были бы для него нипочем? (Иногда так бывает от некоторой тупости.) Мог ли бы он смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя? Я и не переставал их бояться, и не переставал просить Тебя об избавлении от них, и продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении и в обдумывании уроков, чем это от меня требовали. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, и за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Одобрят ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную? Наставник, бывший меня, занимался не тем же, чем я? Если его в каком-нибудь вопросе побеждал ученый собрат, разве его меньше душили желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч верх надо мною брал товарищ по игре?

И все же я грешил, Господи Боже, все в мире сдерживающий и все создавший; грехи же только сдерживающий. Господи Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которой я, по желанию моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был овладеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре: я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелища, игры старших. Те, кто устраивает их, имеют столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих, и в то же время охотно допускают, чтобы их секли, если эти зрелища мешают их учению; родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. Взгляни на это, Господи, милосердным оком и освободи нас, уже призывающих Тебя; освободи и тех, кто еще не призывает Тебя; да призовут Тебя, и Ты освободишь их. <...>

В детстве моем, которое внушало меньше опасностей, чем юность, я не любил занятий и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали; меня тем не менее принуждали, и это было

¹⁰⁰ Пс 93:22.

хорошо для меня, но сам я делал нехорошо; если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. И те, кто принуждали меня, поступали нехорошо, а хорошо это оказалось для меня по Твоей воле, Господи. Они ведь только и думали, чтобы я приложил то, чему меня заставляли учиться, к насыщению ненасытной жажды нищего богатства и позорной славы. Ты же, «у Которого сочтены волосы наши»¹⁰¹, пользовался, на пользу мою, заблуждением всех настаивавших, чтобы я учился, а моим собственным – неохотой к учению, Ты пользовался для наказания моего, которого я вполне заслуживал, я, маленький мальчик и великий грешник. Так через поступавших нехорошо Ты благодетельствовал мне и за мои собственные грехи справедливо воздавал мне. Ты повелел ведь – и так и есть, – чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание.

В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков¹⁰². Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суетности, ибо «я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся»¹⁰³. Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Энея, забывая о своих собственных; плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, – и это в то время, когда я не проливал, несчастный, слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, Жизнь моя¹⁰⁴. <...>

Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплести такие басни; в своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думал, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляют изучать его так же, как меня Гомера. Трудности, очевидно обычные трудности при изучении чужого языка, окропили, словно желчью, всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я, малюткой, не знал ни одного слова по-латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилиц, шутивших и игравших со мной, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце мое понуждало рожать зачатое, а родить было невозможно, не выучи я, не за уроками, а в разговоре, тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. <...>

Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрчивал я способности мои, дарованные Тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя: произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя тевкров¹⁰⁵. Наградой была похвала; наказанием – позор и розги. Я никогда не слышал, чтобы

¹⁰¹ Мф 10:30.

¹⁰² Законченное образование во всем римском мире получали лица, прошедшие три школы: начальную, где обучались чтению, письму и счету; грамматическую, где занимались главным образом чтением и толкованием поэтов и прозаиков, введенных в канон школьного обучения; и риторскую, в которой юноша готовился к ораторской карьере.

¹⁰³ Пс 77:39.

¹⁰⁴ Эней – главный герой «Энеиды» Вергилия, на которой воспитывалось все римское общество. Один из троянских героев, Эней бежит из объятий пожаром Трои. В Карфагене он принят царицей Дидоной, полюбившей его. После отъезда Энея она покончила с собой.

¹⁰⁵ Царь тевкров (т. е. троянцев) – Эней. Юнона старалась помешать Энею прибыть в Италию, где ему судьбой было определено основать великое царство. Подобные задачи по составлению прозаических речей от имени мифологических персонажей были обычным упражнением в школе грамматика.

Юнона произносила такую речь, но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так, как было сказано поэтом в стихах. Особенно хвалили того, кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. Что мне с того, Боже мой, истинная Жизнь моя! Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? <...> Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово *homo* без придыхания в первом слоге, то люди возмущаются больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям Твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь.

Вот на пороге какой жизни находился я, несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю Тебе об этом, Господи, и исповедую пред Тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую «был брошен прочь от очей Твоих»¹⁰⁶. Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такою же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, а не уступал.

И это детская невинность? Нет, Господи, нет! позволь мне сказать это, Боже мой. Все это одинаково: в начале жизни – воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробы; когда же человек стал взрослым – префекты, цари, золото, поместья, рабы, – в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда Ты сказал, Царь наш: «Таковых есть Царство Небесное»¹⁰⁷, Ты одобрил смирение, символ которого – маленькая фигурка ребенка.

И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал; я заботился о своей сохранности – след таинственного единства, из которого я возник. Движимый внутренним чувством¹⁰⁸, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества. Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе? <...>

¹⁰⁶ Пс 30:23.

¹⁰⁷ Мф 19:14.

¹⁰⁸ Личностное сознание, коррелирующее данные органов чувств.

Книга 2

Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. <... >

Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бывшей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков.

Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглух я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей¹⁰⁹. Я уходил все дальше от Тебя, и Ты позволял это; я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя Радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости выращивая богатый посев бесплодных печалей. <...>

Где был я? Как далеко скитался от счастливого дома Твоего в этом шестнадцатилетнем возрасте моей плоти, когда надо мною подъяла скипетр свой целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами Твоими неразрешенная. Мои близкие не позаботились подхватить меня, падающего, и оженить; их заботило только, чтобы я выучился как можно лучше говорить и убеждать своей речью...

Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора? И богач не терпит человека, принужденного к воровству нищетою. Я же захотел совершить воровство, и я совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от объедения грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии и притом было гораздо лучше: я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом.

По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь; по губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если даже кое-что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запрещен. Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над которым Ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок.

Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем; только взаимная приязнь делает приятным телесное прикосновение; каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. В земных почестях, в праве распоряжаться и стоять во главе есть своя красота; она заставляет и раба жадно стремиться к свободе. Нельзя, однако, в погоне за всем этим отходить от Тебя, Господи, и удаляться от закона Твоего. Жизнь, которой мы живем

¹⁰⁹ «Смертностью моей» – смертным телом. Желания тела оглушили юношу. Это было наказанием за гордость, выразившуюся в стремлении быть независимым от Бога.

здесь, имеет свое очарование: в ней есть некое свое благолепие, соответствующее всей земной красоте. Сладостна людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить и в неумеренной склонности к таким, низшим, благам покидает Лучшее и Наивысшее, Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В этих низших радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, Который создал все, ибо в Нем наслаждается праведник, и Сам Он наслаждение для праведных сердцем. <...>

Что же было мне, несчастному, мило в тебе, воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в шестнадцатилетнем возрасте? Ты не было прекрасно, будучи воровством; представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с Тобой? Прекрасны были те плоды, которые мы украли, потому что они были Твоим созданием, прекраснейший из всех, Творец всего, благий Господи, Ты, высшее благо и истинное благо мое; прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. У меня в изобилии были лучшие: я сорвал их только затем, чтобы украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно наслаждался. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? В нем нет никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, какая есть в человеческом разуме, в памяти, чувствах и полной сил жизни; нет красоты звезд, украшающих места свои; красоты земли и моря, полных созданиями, сменяющими друг друга в рождении и смерти; в нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке. <...>

Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая о чем, я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? Да и само по себе оно было ничто, а я от этого самого был еще более жалок. И однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние духа, я один не совершил бы его; один я никак не совершил бы его. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. Я любил, следовательно, кроме воровства еще нечто, но и это нечто было ничем. Что же на самом деле? Кто научит меня, кроме Того, Кто просвещает сердце мое и рассеивает тени его? Зачем приходит мне в голову спрашивать, обсуждать и раздумывать? Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы ими наестся, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. Нечего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его о соучастников. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах; оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших.

Что это было за состояние души? Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. Что же это, однако, было? «Кто понимает преступления?»¹¹⁰ Мы смеялись, словно от щекотки по сердцу, потому что обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать, и горячо этому бы воспротивился. Почему же я наслаждался тем, что действовал не один? Потому ли, что наедине человек не легко смеется? Не легко, это верно, и однако иногда смех овладевает людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. А я один не сделал бы этого, никак не сделал бы один. Вот, Господи, перед Тобой живо припоминаю я состояние свое. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство; одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву! Стремление к чужому убытку без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят: «пойдем, сделаем», и стыдно не быть бесстыдным.

Кто разберется в этих запутанных извивах? Они гадки: я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. Я хочу Тебя, Справедливость и Невинность, прекрасная честным Светом

¹¹⁰ Пс 18:13.

Своим, насыщающая без пресыщения. У Тебя великий покой и жизнь безмятежная. Кто входит в Тебя, входит в «радость господина своего»¹¹¹ и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. Я в юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты.

¹¹¹ Мф 25:21.

Павлин из Пеллы (376 – ок. 459)

Павлин из Пеллы – латинский христианский поэт конца IV – первой половины V в., автор автобиографической элегии «Евхаристик» и пространной «Молитвы» («Oratio»). Родился в Македонии, в г. Пелла, происходил из семьи римского имперского чиновника, сына знаменитого галльского поэта Авсония.

О биографии Павлина известно немного и в основном от него самого. Сохранились также документальные свидетельства того, что в 414 или 415 г. он поступил на государственную службу в качестве казначея, а в 421 г. обратился в христианство и хотел даже стать монахом. Павлин прожил долгую жизнь, полную испытаний. Он пережил вторжение варваров в Западную Римскую империю в 406 г., захват и разграбление визиготами Бордо в 414 г. и окончил свою жизнь в нищете.

Элегия «Евхаристик» (то есть «благодарственный стих») была написана Павлином на склоне его дней (поэту было 83 года). Сюжет ее незамысловат: автор, перебирая события своей жизни, несмотря на ее невзгоды воздает благодарение Богу за все, что тот для него содейл. Ниже приводится начало произведения: вступление, разъясняющее авторский замысел – то есть оправдывающее его обращение к собственной персоне («всею жизнью моею обязан я Господу»), – и автобиографический рассказ о детских и отроческих годах. Рассказ этот, перемежающийся хвалебными обращениями к Создателю, содержит основные моменты начала жизненного пути Павлина. Щедро умащая рассказ поэтическими красотами, он говорит о своем рождении, переездах семьи с места на место в первые годы его жизни, о прибытии в Рим. Затем задает сам себе главный вопрос: «Что же, однако, из тех ребяческих лет мне поведать?» И дальше строит свою историю, отвечая на него. Первой он упоминает любовь и заботу «родителей добрых», затем рассказывает об учебе («Был я посажен учить заветы Сократа и сказки / Петых Гомером битв и потом скитаний Улисса») и трудностях, которые он испытывал, одновременно изучая латынь и греческий, о тяжелой болезни, которая прервала его ученье в 15 лет, и последовавшей затем опасной увлеченности мирскими соблазнами.

«Евхаристик» – один из наиболее ярких примеров «украшенной» поэтической автобиографии. Сочинение отличается от большинства других античных и средневековых стихотворных сочинений автобиографического характера подробное изложение конкретных сведений о жизни автора, и в этом смысле «Евхаристик» иногда сравнивают с «Исповедью» св. Августина. Нетрудно, впрочем, заметить, что в рассказе Павлина о своем детстве гораздо более выпукло выражены топоры античной биографической традиции, чем христианской агиографической, которая в его время только начинала складываться¹¹².

Евхаристик Господу Богу в виде вседневной моей повести

Ведомо мне, что были прославленные мужи, которые в блеске своих добродетелей вседневную повесть деяний своих собственными словами предали памяти людской ради продолжения достойнейшей своей славы. Будучи безмернейше от них отдален как заслугами, так и минованием времени, к сочиненьицу подобного же содержания был я побужден отнюдь не подобною причиной, ибо ни деяний за мною нет столь блестящих, чтобы стяжать ими хоть малую славу, ни красноречия во мне нет столь надежного, чтобы решиться соперничать с трудом моего сочинителя, – зато не стыжусь признаться, что меня, иссыхавшего скорбью маетной праздности в

¹¹² Текст сочинения в переводе М. Л. Гаспарова публикуется по изданию: *Авсоний. Стихотворения*. М., 1993. С. 233–237. Предисловие Ю. П. Зарецкого.

скитании дней моих, само божественное (верую!) милосердие побудило искать такого утешения, которое пристало и добросовестной старости и прилежной вере: сиречь, памятуя, что всею жизнью моею обязан я Господу, всей этой жизни моей поступки показать Ему подданными в послушании, и всей этой жизни моей возрасты, Его же благодатью мне данные, перечислить Ему евхаристически (сиречь благодарственно) в виде вседневной моей повести, — ибо я заведомо знаю, что было надо мною всеблагое Его милосердие, так как и в первом моем возрасте не чуждался я преходящих наслаждений, простительных роду человеческому; знаю и то, что в настоящей моей жизни предводит меня забота провидения Господня, ибо, непрестанными невзгодами с умеренностью меня упражняя, Он воочию меня вразумил, что не должно ни к насущной красоте прилепляться душою, зная, что быть ей утраченной, ни встречных невзгод чрезмерно страшиться, испытавши, как wspomогает в них Его Господне милосердие.

Посему, если попадает это сочинение кому в руки, то самым заглавием книжки должен он быть предупрежден, что рассужденье это мое, всемогущему Господу посвященное, явилось не столько для чьего-либо дела, сколько от моего безделья, и написано с тем, чтобы молитвенное мое послушание, какое оно ни на есть, дошло до Господа, а не с тем, чтобы нескладными своими стихами привлечь внимание ученийших.

Если же отыщется такой любопытствующий, который от дел своих найдет досуг узнать хлопотный порядок жизни моей, то с такою мольбою к нему обращаюсь: найдет ли он, вовсе не найдет ли он в делах или в стихах моих нечто достойное похвалы, пусть он найденное лучше бросит под стопы забвения, нежели предаст на суд памяти человеческой.

Приготовляясь сказать о годах, которые прожил,
День за днем проследив все те времена, по которым
Жизнь prospeshila моя в своем пути переменном,
Я обращаюсь с мольбою к Тебе, Господь всемогущий:
Будь при мне, попутно дохни начинаньям угодным,
Дай молитвам сбыться и дай стихам довершиться,
Чтоб вспоможеньем Твоим исчислил я всю Твою милость.
Ибо только Тебе я обязан всей моей жизнью, —
С первого мига, когда вдохнул я свет животворный
В этом неверном миру, бросаемый снова и снова
Бурями жизненных бед, под Твоей я старился сенью:
Вот уже полных начёл одиннадцать я семилетий
В беге несущихся лет и еще с тех пор я увидел
Шесть морозных зим и жарких солнцестояний,
Господи, в дар от Тебя, ибо Ты на смену минувшим
В круговороте времен посылаешь нам новые годы.
Дай же запечатлеть дары Твои этою песнью
И в распорядок слов внести мою благодарность,
Хоть для Тебя не безвестна она и скрытая в сердце,
Но из безмолвных таилищ души прорвавшись невольно,
Голос спешит излить половодье чистой молитвы.
Ты еще млечной порой вложил мне довольные силы
Ко претерпению пути по земле и неверному морю,
Ибо, родившийся там, где Пелла была колыбелью
Для Александра царя, вблизи от стен Фессалоник¹¹³,

¹¹³ Пелла была в древности столицей Македонского царства. Впоследствии захирела и превратилась в небольшой провинциальный город.

Где при сиятельном был префекте отец мой викарий¹¹⁴,
Вдруг на другой конец земли, по ту сторону моря
Должен я был повлечься в руках дрожащих кормилиц
За снеговые хребты изрезанных реками Альпов,
За океанскую дальнюю хлябь, за тирренские волны¹¹⁵
Вплоть до самых твердынь Карфагена, сидонского града¹¹⁶,
Между тем, как еще и в девятом месячном круге
Не обновилась луна со дня моего появления.
Там, говорят, тогда восемнадцать лишь месяцев прожил
Я при моем отце-проконсуле¹¹⁷, после же – снова
Морем поплыл по знакомым путям, чтоб увидеть над миром
Славные стены, взнесенные ввысь, великого Рима.
И хоть еще не дано моему было детскому взгляду
Знать, что лежит предо мной, но, узнавши потом по рассказам
Тех, которые были при мне и видели это,
Я порешил и об этом сказать, начав свою повесть.
Но, наконец, закончивши путь столь долгих скитаний,
Я пришел под дедовский кров, в отечество предков,
В ту Бурдигалу¹¹⁸, где устьем реки, прекрасной Гарумны
Сам Океан приливной волной вливается в город
Через проем судоходных ворот, какими и ныне
Отворена в Океан стеной обнесенная гавань.
Тут-то впервые узнал я и деда, который был консул
В этом году, а мне и трех лет не исполнилось полных.
А как исполнился срок, и окрепло тело, и члены
Силою налились, и над чувствами вставший рассудок
С пользой меня научил познавать все вещи на свете, —
С тех-то пор я должен и сам, насколько упомяну,
Все о себе достоверно сказать, что достойно рассказа.
Что же, однако, из тех ребяческих лет мне поведать,
Лет, которые, мнится, даны были только в забаву
Первою вольностью, резвой игрой и отменным весельем,
Что припомнить милей и что достойнее вставить
В этот рассказ, который плету из кованных строчек,
Как не любовь и заботу моих родителей добрых,
Ибо она была такова, что умела ученье
Нежною лаской смягчать и искусно приисканной мерой
В сердце мое внедрить способность к доброму нраву,
Неподготовленный дух наставив на путь совершенства, —
Даже когда учил я в азбуке первые буквы,
Было ли мне внушено избегать значков *amathiae*¹¹⁹

¹¹⁴ Префект – военное или гражданское должностное лицо высокого ранга. Викарий – заместитель префекта либо наместник.

¹¹⁵ Тирренское море располагалось между Италией, Корсикой, Сардинией и Сицилией.

¹¹⁶ Карфаген назван «сидонским городом», так как в нем обосновались потомки финикийского царя города Сидона.

¹¹⁷ Проконсул – наместник провинции, бывший консул. Консул – высшее должностное лицо Римской республики.

¹¹⁸ Бурдигала – французский город Бордо.

¹¹⁹ Невежество (греч.)

И не впадать в порок, зовомый асоіноноета!¹²⁰
Пусть из этих наук во мне столь многое стерлось,
Заглушено, увы, порочностью долгого века,
Но признаюсь, доселе мила мне римская давность
И оттого сносней наступивший старческий возраст.
Вскоре после того, как прошли пять лет моей жизни,
Был я посажен учить заветы Сократа и сказки
Петых Гомером битв и потом скитаний Улисса¹²¹.
Тотчас затем пришлось перейти и к Мароновым книгам¹²²,
Хоть и еще не довольно владел я латинскою речью,
Будучи свычен скорей с болтовней служителей-греков,
Тех, в которых знал товарищей в детских забавах;
И оттого, признаюсь, нелегко в моем малолетстве
Было познать красноречие книг в языке незнакомом.
Это двойное ученье¹²³, умов достойное лучших
И придающее блеск сугубый большим дарованиям,
Было моей, как я вижу теперь, душе не под силу,
Вскоре в размахе своем исчерпав ее скудные средства, —
Что и теперь выдает невольно вот эта страница,
Хоть отдаю, неумелую, сам я ее на прочтенье,
Ибо она не позорит меня своим содержанием,
О каковом и стараюсь я дать изъяснение в слове —
Это отец и мать в добронравье своем постарались
Так меня воспитать, чтобы больше уже не бояться,
Что злоязычный попрек уязвит мое доброе имя.
Но хоть осталось оно в своей не запятнано чести,
Было бы лучше ему облечься достойнейшим блеском,
Если бы воля отца и матери в оные годы
Так совпала с моим тогдашним детским желаньем,
Чтобы навек сохранить меня рабом Твоим, Боже,
Благочестивый отеческий долг соблюдая полномерно,
И чтобы я, миновав преходящие радости плоти,
Вечной радости плод пожал бы в грядущие годы.
Но поелику теперь пристало мне более верить,
Что изъясил Ты волю Свою провести меня в жизни,
О присносуший Господь, всегда указующий долю,
Так, чтобы я согрешил, а Ты меня снова восстановил,
Жизненным даром меня оделив, — то тем благодарней
Я предстаю, чем больше в своих согрешениях каюсь.
Ибо что бы мне ни пришлось соделать дурного
В этом моем пути по скользкому времени жизни, —
Знаю, что Ты, милосердый, отпустишь мою мне провинность,
Если, раскаявшись, я прибегну к Тебе, всепокорный;
Если ж я когда и сумел от греха воздержаться,

¹²⁰ Высокомерная отчужденность (греч.)

¹²¹ Улисс — латинский вариант имени Одиссей.

¹²² Речь идет о Вергилии (70 до н. э. — 19 до н. э.), римском поэте, авторе «Энеиды».

¹²³ Автор имеет в виду обучение письменной традиции, существовавшей на двух языках.

Коим теперь пред Тобой оказался бы хуже виновен, —
Тоже знаю, что это – Твои надо мною щедроты.
Но возвращаюсь на прежний черед: в далекую пору
Лет, когда, посвятив себя словесным занятиям,
Я уже видел в мечтах себя ощутимо достигшим
Некой цели трудов на этом избранном поле,
Где надзирали за мной аргивский¹²⁴ наставник и римский,
И, быть может, уже собирал бы плоды урожая, —
Если бы вдруг, внезапно напав, худая горячка
Не отвратила меня от приятных ученых попыток
В самый год, когда мне едва миновало пятнадцать.
Были отец и мать в такой тревоге о сыне,
Что рассудили они, что важней поправленье здоровья
В теле бессильном моем, чем двух языков изощренье,
Да и врачи говорили о том, что мне благотворно
Будет развлечься душой на всем, что приятно и мило.
Сам за это отец с таким старанием взялся,
Что, хоть в последние годы отстал он от ловчей охоты
(Все потому, что мешать не хотел моему обученью
И отвлекать меня от книг в охотничьи игры,
Но и один без меня не чувствовал радости в ловлях), —
Ныне ради меня с сугубым усердьем вернувшись
К прежней потехе, он все обновил охотничьи снасти,
Коими чаял вернуть меня к возжеленному здоровью.
Эти, однако, забавы мои, растянувшись на время
Долгой болезни, во мне с тех пор посеяли лень
К чтению, которая стала во вред, когда, избывши недуги,
Новою я к соблазнам мирским загорелся любовью,
В чем и родители мне не мешали, в любовном пристрастии
Быв довольны и тем, что ко мне воротилось здоровье.
Вот по какой причине с тех пор моя непутевость
Быстро росла, подкрепясь исполненьями юных желаний —
Чтобы скакун был красив и разубрана бляхами сбруя,
Конюх виден, пес быстроног и сокол породист,
Чтобы мне выписан был по заказу из самого Рима
Весь позолоченный меч, удобный всяческим играм,
Чтобы одет я был лучше всех, и любая новинка
Благоухала, храня аромат аравийского мирра.
Столько же был я рад скакать на коне быстролетном,
И коли мне удалось избежать опасных падений,
То, как припомню о том, по праву скажу, что Христовым
Был я храним попеченьем, – и жаль, что тогда не подумал
Я об этом и сам, теснимый соблазнами мира...

¹²⁴ «Аргивяне» (от г. Аргос) – синоним греков.

Максимиан (VI в.)

О жизни Максимиана сохранилось мало сведений. Почти все, что нам о нем известно, рассказано им самим в его сочинениях. Из них мы знаем, что он был «этрусского рода», жил в Италии, прославился как судебный оратор и поэт, а также что в молодости он пользовался покровительством прославленного Боэция. Считают, что Максимиан занимал высокое положение при дворе остготских королей, известно также, что уже в преклонном возрасте он ездил в Константинополь в качестве римского посла.

Писал Максимиан свои основные произведения в очень распространенном в Античности жанре элегии и очень традиционно по стилю, настолько, что, когда в 1501 г. его стихи были найдены, их посчитали творением римского поэта Корнелия Галла. Содержание стихов – сластные воспоминания об ушедшей юности и горькое сравнение ее со старческим возрастом.

До нас дошел цикл из шести элегий Максимиана. Главное место в них занимает эротическая топика, в которой Максимиан подражает «Любовным элегиям» Овидия. Любопытно, что несмотря на такое не вполне подходящее для детского чтения содержание элегии Максимиана часто использовались в учебных целях в средневековых школах. Ниже приводится третья элегия Максимиана, в которой он рассказывает о своей юношеской любви и которая написана ок. 550 г.¹²⁵

Элегия III

Вспомнить теперь я хочу, что было в далекие годы,
Юность хочу сравнить с нынешней дряхлой порой.
Этот рассказ оживит в читателе дух утомленный —
Будет после него легче и старческий стон.
Был я в любовном плену – в твоём плену, Аквилина:
Бледный, угрюмый, больной, был я в любовном плену,
Что такое любовь и что такое Венера,
Сам я не знал и страдал в неискренности чувств.
Та, кого я любил, пронзенная той же стрелой,
Тщетно бродила, томясь, в тесном покое своём.
Прялка и ткацкий станок, когда-то столь милые сердцу,
Праздно стояли; одна мучила душу любовь.
Так же, как я, не умела она излить свое пламя,
Ни подобрать слова, чтоб отозваться в письме.
Только и были отрадой тоске бессловесные взоры, —
Лишь погляденьем жила в душах бесплодная страсть.
Мало и этой беды: неотступно при нас находились
Дядька-наставник – со мной, с нею – докучная мать.
Не утаить нам было от них ни взгляда, ни знака,
Ни покрасневшей щеки, выдавшей тайную мысль.
Мы, куда могли, молчаньем скрывали желанья,
Чтобы никто не проник в сладкую хитрость любви;

¹²⁵ Текст приводится в переводе М. Л. Гаспарова по изданию: Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 596–598. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

Но наконец и стыд перестал удерживать нежность,
Сил не хватило таить пламя, что билось в груди, —
Стали мы оба искать и мест и предлогов для встречи,
Стали вести разговор взмахами глаз и ресниц,
Стали обманывать зоркий досмотр, осторожно ступая,
И до рассвета бродить, звука не выронив в ночь.
Так мы украдкой любили друг друга, однако недолго:
Мать, дознавшись, дает волю словам и рукам,
Клином хочет вышибить клин, — но страсть от побоев
Только жарче горит, словно от масла огонь.
Вдвое безумней безумная страсть свирепствует в душах:
Не умеряется, нет, крепнет от боли любовь.
Ищет подруга меня, прибегает ко мне, задыхаясь,
Верит, что муки ее верность купили мою,
Напоминает о них, не стыдится разорванных платий,
Радостно чувствуя в них право свое на меня.
«Любо мне, — говорит, — за тебя принимать наказание,
Ты — награда моя, сладкая плата за кровь.
Будь моим навсегда, не знай в душе перемены:
Боль для меня ничто, если незыблема страсть».

Так терзали меня любовные жгучие жала,
Я горел, я слабел и вызволения не ждал,
Выдать себя не смел, молчаливою мучился раной,
Но худоба и тоска все выражали без слов.
Тут-то меня пожалел и пришел, жалея, на помощь
Ты, Бэтий¹²⁶ знаток тайн, сокровенных от глаз.
Часто видя меня, томимого некой заботой,
А о причинах ее вовсе не зная ничего,
Ты угадал, какая болезнь меня обуяла,
И в осторожных словах горе мое приоткрыл.
«Молви, — ты мне сказал, — какой тебя жар пожирает?
Молви! назвавши беду, ты и целенье найдешь.
Вспомни: пока неведом недуг, невозможно лечение;
Злее земного огня злится подземный огонь».
Стыд мешал мне сказать о запретном, признаться в порочном;
Он это понял, но все смог прочесть по лицу.
«Тайной скорби твоей, — сказал он, — понятна причина;
Полно! от этой беды средство всесильное есть».
Пал я к его ногам, разомкнул стыдливые губы,
Слезно поведал ему все, что случилось со мной.
Он: «Спасенье одно — овладей красавицей милой!»
Я: «Боюсь овладеть — страшно обидеть ее».
Он рассмеялся в ответ и воскликнул: «О дивная нежность!
Разве царица любви может столь чисто царить?
Будь мужчиною, брось неуместную жалость к подруге:
Ты обижаешь ее тем, что боишься обид!»

¹²⁶ Бэтий (Бозций, ок. 480–524) — римский философ и государственный деятель.

Знай, что нежная страсть не боится кусать и царапать,
Раны ей не страшны, краше она от рубцов».

Он посылает дары – и стали родители мягче,
И снисхожденью ко мне их научила корысть.
Жажда богатств слепа и сильнее, чем семейные узы:
Стал родителям мил собственной дочери грех.
Нам позволяют они наслаждаться лукавым пороком
И проводить вдвоем в радости целые дни.
Что ж? дозволенный грех опостылел, сердца охладели,
Стала спокойна душа, лень одолела недуг.
Видит подруга, что нет во мне желанного пыла,
И возмущенно идет, неповрежденная, прочь.
Сонм ненужных забот покидает воскресшую душу,
Видит здоровый ум, как он напрасно страдал.
«Слава тебе, чистота! – вскричал я, – не знала обиды
Ты от стыда моего, – и не узнай никогда!»
Весть об этом дошла до Бэотия, твердого мужа;
Видит он, выплыл я цел из захлестнувшей беды,
И восклицает: «Смелей! торжествуй, победитель, победу:
Ты одолел свою страсть, и поделом тебе честь.
Пусть же склонит свой лук Купидон, отступит Венера,
Пусть Минерва сама силу признает свою!»

Вот как воля грешить охоту грешить отбивает:
Нет желанья в душе, нет и желанья желать.
Мрачно мы разошлись, друг другу немилые оба.
Что означал разрыв? Наш целомудренный нрав.

Дорофей из Газы (ум. после 560)

Монах монастыря аввы Серида в Сирии, затем настоятель монастыря близ Газы в Палестине. Автор многих аскетических наставлений о подвижничестве. Происходя родом из окрестностей г. Аскалона в Палестине, получил хорошее светское и духовное образование. По-видимому, в юности постепенно в процессе общения с подвижниками Варсонофием и Иоанном пришел к полному отречению от мира. В качестве послушания ему было назначено принимать и успокаивать странников. Стал впоследствии начальником монастырской больницы, устроенной в монастыре его братом. Став настоятелем другого монастыря, взялся за писательство¹²⁷.

Поучение десятое О том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно

<... > Ибо, если кто в начале понуждает себя, то, продолжая подвизаться, он мало-помалу преуспевает и потом с покоем совершает добродетели: поелику Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Итак, будем и мы понуждать себя, положим доброе начало, усердно пожелаем доброго; ибо хотя мы еще не достигли совершенства, но самое сие желание есть уже начало нашего спасения; от этого желания мы начнем с помощью Божиею и подвизаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетелей. Посему-то некто из отцов сказал: «Дай кровь и приими дух», т. е. подвизайся и получишь навык в добродетели.

Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю; когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда же учитель отпускал нас, я омывался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения и имел нужду каждый день освежаться водою; приходя же домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для распоряжения касательно самой пищи моей, но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. А я ел, что находил приготовленным, имея книгу подле себя на постели, и часто углублялся в нее. Также и во время сна она была подле меня на столе моем, и, уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение. Опять вечером, когда я возвращался [домой] после вечерни, я зажигал светильник и продолжал чтение до полуночи, и [вообще] был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя.

Итак, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе: «Если при обучении внешнему любомудрию родилось во мне такое желание и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то тем более [будет так] при обучении добродетели» и из этого примера я почерпал много силы и усердия. Так, если кто хочет приобрести добродетель, то он не должен быть нерадивым и рассеянным. Ибо как желающий обучиться плотничеству не занимается иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. А иначе

¹²⁷ Перевод с греческого Памвы Берынды приводится по изданию: Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания. 8-е изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 114–115.

приступающие к сему делу не только не преуспевают, но и сокрушаются, неразумно утруждая себя. <...>

Отлох Санкт-Эммерамский (ок. 1010 – ок. 1070)

Отлох Санкт-Эммерамский – монах, богослов, переписчик и школьный учитель, автор четырех произведений, либо полностью, либо большей частью посвященных истории собственной жизни. Приведенные здесь фрагменты из основных автобиографических трудов Отлоха – единственные и притом немногословные свидетельства писателя о детстве и годах учебы в баварском монастыре Тегернзее, хотя приобретенные тогда навыки переписчика и познания в свободных искусствах являлись предметом постоянной гордости Отлоха и существенным компонентом его самоидентификации. При сравнении фрагментов из сочинений Отлоха разных лет видно, как в течение жизни изменилось содержание его воспоминаний о детстве. В первом из своих автобиографических сочинений, «Книжице о духовном учении», написанной в 1034 г., по вступлении в монастырь св. Эммерама, Отлох вспоминал о детских годах почти исключительно в связи со своим намерением уйти в монастырь (тогда так и не осуществленным). В том же контексте тема детства возникает и в «Книге видений», составленной в 1062–1064 г. Если в «Книге о беге духовном», написанной в конце 60-х годов XI в., Отлох вовсе не говорил о своем детстве, то в составленной на ее основе «Книжице об искушениях некоего клирика» появляется обстоятельный рассказ о годах учения. Отлох прежде всего пишет о своих успехах в освоении искусства письма, к которому его «с раннего детства предопределил Господь». Несмотря на важность каллиграфии (*studium scribendi*), место которой в рукописной культуре Средневековья трудно переоценить, Отлох считает этот свой дар второстепенным по сравнению с оригинальным литературным творчеством (*studium dictandi*). Его он избрал по вступлении в 1032 г. в монастырь св. Эммерама в Регенсбурге добровольно и с целью обуздать свою плоть. Тем не менее писатель рекомендует «некоторым монахам, преданным праздности», заниматься хотя бы и каллиграфией, как «подобающей монашеской жизни»¹²⁸.

Из «книжицы о духовном учении»

Глава XV

О том, как после разнообразных приступов недуга вернулся к монашеским обетам

... Ведь помимо обета, который недавно принес (1032 г.), // Некогда, будучи еще маленьким мальчиком, // Преисполненный ожиданиями учебы в школе, // Обещал подчинить себя святому монашескому закону. // Сделал же это без всякого юридического принуждения // И не при свидетелях открыто, но тайно, побуждаемый любовью // К единому Господу, поскольку начал хорошо учиться // И поскольку как первый ученик жил вместе с монахами. // О горе! Этот обет, как считал, был якобы дан по-детски. // По легковесному совету обещанием таковым пренебрег, // Ведь одновременно соблазняли меня и мир и юность...¹²⁹

¹²⁸ Вступительная статья и перевод Н. Ф. Ускова.

¹²⁹ *Migne J.-P. Patrologiae latinae... cursus completus...* P., 1848. T. 146. Col. 280.

Из «книги об искушениях некоего клирика»

Еще угодно мне рассказать, какое великое знание и какую способность к писанию получил от Господа в нежном возрасте. Маленьким переданный в школьное учение, я очень быстро выучился буквам и пению, которое осваивают вместе с буквами, и начал задолго до обычного времени обучения, без приказания наставника, овладевать искусством письма. Тайно и необычным образом, без всякого наставления, попытался освоить это искусство письма. Потому и случилось, что привык при письме держать перо неправильно и позже никакое учение не могло этого исправить. Ведь сильная привычка мешала мне улучшиться. Когда многие увидели это, то говорили в один голос, что я никогда не буду хорошо писать. Но по милости Божьей случилось, как многим известно, иначе. Ведь хоть и казалось, что в детстве я научился кое-как писать, в то самое время, когда мне вместе с другими мальчиками была дана дощечка для занятий письмом, явил присутствовавшим чудо. Позднее, но не после долгого времени, так начал хорошо писать и такую страсть имел к этому, что и в том месте, где всему этому научился, то есть в монастыре, называемом Тегернзее, переписал многие книги. И еще ребенком отправленный во Франконию, настолько много предавался писанию, что по возвращении оттуда едва не лишился зрения. Я решил поведать об этом для того, чтобы побудить других к подобному рвению в трудах, а рассказывая всем о милости Божьей, которая предоставила мне такой дар, хочу подвигнуть их к возвеличиванию вместе со мной благодати Божьей¹³⁰.

¹³⁰ *Otloh von St. Emmeram. Liber de temptatione cuiusdam monachi* /S. Gabe. (Hrsg.). Bern, 1999. P. 352, 354.

Гвиберт Ножанский **(1053 или 1055 – ок. 1124)**

Гвиберт Ножанский родился в знатной семье в Северной Франции. Рано лишившись отца, он остался на попечении матери, которая была весьма озабочена его обучением и воспитанием. С детства он поручен учителю грамматики, затем отдан в монастырь. Первым его литературным увлечением оказалась античная поэзия, особенно Овидий и Вергилий, до такой степени потрясшие душу и ум юноши, что он и сам начал сочинять стихи подобного содержания. В долгой борьбе христианское воспитание все же одержало верх над языческой красотой и жизнелюбием.

Гвиберту довелось учиться у Ансельма Кентерберийского, комментировать Священное Писание. В 57 лет он стал аббатом монастыря св. Марии в Ножане (недалеко от Лана), по имени которого и получил свое прозвище.

Гвиберт оставил после себя теологические трактаты и комментарии, грамматические и поэтические сочинения. Однако наибольший интерес представляют два его крупных произведения: «Деяния Бога через франков» и «О своей жизни». В обоих сочинениях он показал себя писателем оригинального склада и в какой-то степени новатором.

Сочинение «О своей жизни», интересующее нас, состоит из трех «книг» (разделов), вторая и третья из которых посвящены событиям, прямо не относящимся к Гвиберту, но свидетелем которых он был, – это история его монастыря и борьба коммуны города Лана с епископом. Первая же книга – о детстве и отрочестве Гвиберта и о его жизни в монастыре. Сочинение имело своим образцом, видимо, «Исповедь» Августина. Гвиберт стремился дать психологическую картину становления юноши. Рассказ о воспитании юного Гвиберта позволяет автору подробно рассказать и о своем обучении. Живописные подробности отношений с учителем и к учителю, описание занятий и увлечений дают возможность представить себе состояние образования во второй половине XI в., степень его доступности и распространенности, приоритеты в обучении, методы педагогов, наконец, тот круг чтения, который был доступен начинающему школяру¹³¹.

О своей жизни

Книга первая

IV. Родившись таким образом, как то рассказано мною¹³², едва я начал понимать удовольствие, доставляемое детскими игрушками, как ты, о Боже милосердный, долженствующий заменить мне место отца, сделал меня сиротой. Только что прошел восьмой месяц от моего рождения, как мой отец по плоти скончался; и при этом я должен, Господи, благодарить тебя, что ты допустил его умереть с христианскими чувствами, ибо он, если бы остался в живых, непременно воспротивился бы видам твоего промысла на меня. И так как развитие моего роста и естественная живость младенца казались ему предназначенными более для светской жизни, то никто не сомневался в том, что лишь только наступит время для меня заниматься науками,

¹³¹ Перевод с латинского. Текст и примечания приведены по изданиям: Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков. М., 1972. С. 367–369 (перевод под ред. Т. И. Кузнецовой); Стасюлевич М. М. История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. 3-е изд. СПб., 1907. Т. 3. Ч. 1. Отд. 1. С. 101–109.

¹³² В предыдущих главах рассказывается о тяжелых родах матери и о данном отцом обете посвятить ребенка монашеской жизни.

отец уничтожит данный им обет. Но ты, премудрый устроитель всего, ты спасительно распорядился обоими нами, и я не лишен познания твоих заповедей, и отец не нарушил данного тебе обещания.

Между тем та, которую ты оставил вдовою, воспитывала меня с самыми нежными заботами. Наконец, она избрала день св. Григория, чтобы посвятить меня в начатки учения. Она слыхала, Господи, что есть один святой муж, твой служитель, который превзошел свой век изумительною мудростью и беспредельными познаниями: вследствие того, при помощи щедрой благостыни, она не раз умоляла своего духовного отца, чтобы он, одаренный тобою всякими познаниями, вдохновил и мое сердце жаждою наук. С того времени¹³³ я начал обучаться грамоте; едва я успел усвоить себе первые начала, как моя мать, в своей жажде образовать меня, решила поручить то учителю грамматики.

Незадолго перед сим, да даже еще и теперь, учителя грамматики были так редки, что почти ни одного нельзя было найти в селах, и в городах с трудом отыскивались немногие, притом и эти были столь слабы в науке, что их невозможно и сравнивать с теми грамотеями (clericis), которые ныне странствуют по селам. Мой же учитель, которому мать поручила меня, сам учился грамматике в позднем возрасте и был тем менее знаком с этою наукою, что обучался ей слишком поздно; но он был столь скромен, что эта добродетель вознаграждала ему слабые познания. Через посредство некоторых из клириков, которые под именем капелланов отправляли у моей матери божественную службу, она просила его принять на себя занятия со мною: он же в то время занимался с одним из моих двоюродных братьев, жил в замке вместе с ним у его родственников и был им весьма необходим; хотя он и был тронут просьбами моей матери и расположен к ней за ее добродетели и чистоту нравов, но он не решался удалиться от моих родственников, в опасении их оскорбить, и переехать к моей матери. Одно видение, о котором я расскажу, положило предел его колебаниям.

Ночью, когда он лежал в своей комнате – я помню очень хорошо, это была та самая комната, в которой все учившиеся у него собирались в замке, – тень какого-то старца с седою головой и наружностью, внушающею уважение, остановилась на пороге, держа меня за руку и, по-видимому, имея намерение ввести в комнату. Действительно, этот старец, остановившись у входа и указывая мне на маленькую кровать, на которой тот держал свои вещи, сказал мне: «Подойди к этому человеку, ибо он должен очень любить тебя»; сказав это, он отпустил мою руку и позволил отойти от себя; я подбежал к тому, на кого он мне показал, и так расцеловал его, что он проснулся. С тех пор он почувствовал ко мне такую привязанность, что без дальнейшего колебания и страха оскорбить моих родственников, которым он... был вполне предан, согласился наконец переехать к моей матери.

Ребенок, которого он воспитывал до того дня, был очень красив собою и хорошего рода; но он имел такое отвращение к наукам, был так неспособен к обучению, столь лжив для своего возраста, с такою наклонностью к воровству, что, несмотря на весь надзор за ним, он никогда не был за работой и проводил целые дни, спрятавшись в виноградниках. Получив отвращение к такому испорченному ребенку, прельщенный дружбою, которую выражала ему моя мать, и особенно побуждаемый видением, о котором я говорил выше, он бросил заниматься воспитанием того ребенка и весьма основательно освободился от господ, в зависимости от которых жил до того времени; но все это не прошло бы ему даром, если бы его не спасло уважение, которым пользовалась моя мать, и ее влияние.

V. С той минуты, как я был отдан ему на руки, он назидал меня с такою чистотою, так искусно ограждал меня от всех пороков, которыми обыкновенно сопровождается младший возраст, что я был тем избавлен от непрерывных опасностей. Он меня не пускал никуда от себя; я не мог отдыхать нигде, как только подле матери, ни получать подарков без его позволе-

¹³³ С шести лет.

ния. Он требовал от меня, чтобы я действовал с осторожностью, точностью, вниманием, тщанием, так что, казалось, он желал, чтобы я вел себя не только как клирик, но как монах. Действительно, в то время, когда мои сверстники бегали там и сям в свое удовольствие и имели позволение время от времени пользоваться своей свободой, я, оставаясь вечно на привязи, закутанный, подобно клирику, смотрел на толпу играющих как существо, поставленное выше их. Даже по воскресеньям и по праздникам меня принуждали следовать такому жестокому правилу; редко давалось мне несколько минут отдохновения, и никогда я не имел целого дня, всегда одинаково подавленный тяжестью труда; мой учитель обязался учить только меня и не имел права заниматься ни с кем другим.

Каждый, видя, как он побуждает меня к труду, надеялся сначала, что такие чрезвычайные упражнения изощрят мой ум; но эта надежда скоро уменьшилась, ибо мой учитель был очень неискусен в чтении стихов и сочинении их по всем правилам. Между тем он осыпал меня почти каждый день градом пощечин и пинков, чтобы заставить силою понять то, что он никак не мог растолковать сам.

Я мучился в этих бесплодных усилиях почти 6 лет, не достигнув никаких результатов своего учения; но зато в отношении правил морали не было минуты, которой бы мой наставник не обращал в мою пользу. По части скромности, стыдливости, хороших манер он употребил весь труд, всю нежность, чтобы я проникся этими добродетелями. Только дальнейший опыт уяснил мне, в какой степени он превышал всякую меру, стараясь для моего обучения держать меня в постоянной работе. Я не буду говорить об уме ребенка, но и взрослый человек, чем его долее лишают отдыха, тем он более тупеет; чем он с большим упорством предается какому-нибудь труду, тем силы его более ослабевают от излишка работы, и чем сильнее принуждение, тем жар его скорей остывает.

Таким образом, необходимо щадить наш ум, утомленный и без того оболочкою нашего тела. Даже и на небе устанавливается правильно тишина ночи именно потому, что в этой жизни наши силы не могут оставаться совсем без отдыха и нуждаются иногда в созерцательном состоянии: точно так же и дух не может быть в вечной подвижности, каково бы ни было дело, которым он занят. Вот почему, какому занятию мы ни были бы преданы, я полагаю, необходимо разнообразить предмет нашего внимания, чтобы дух, переходя от одного предмета к другому, возвращался обновленным и свежим к любимой работе, чтобы наша природа, легко утомляющаяся, находила в перемене труда род некоторого облегчения. Припомним, что и Бог не дал времени одну и ту же форму и восхотел, чтобы его превращения: дни и ночи, весна, лето, зима и осень служили человеку отдохновением. Итак, пусть тот, кто берется быть учителем, обратит внимание на то, чтобы распределять обязанности детей и юношей, воспитание которых возложено на него, ибо я не думаю, чтобы их должно вести иначе по сравнению с теми, ум которых возрос и окреп.

Мой учитель питал ко мне гибельную дружбу, и чрезмерная его строгость достаточно обнаруживалась в несправедливых побоях, которыми он меня наделял. С другой стороны, точность, с которой он наблюдал за каждой минутой работы, превышала всякое описание. Он бил меня тем несправедливее, что если бы у него был действительно талант к обучению, как он полагал, то я, как и всякий другой ребенок, понял бы легко каждое толковое объяснение. Но так как он выражался с трудом, то часто и сам не понимал того, что силился объяснить; вращаясь в кругу тесных и простых понятий, он не отдавал себе ясного отчета и даже не понимал, что говорил, почему совершенно напрасно вдавался в рассуждения. Действительно, его ум был до того ограничен, что если он что дурно понял, учась в позднем возрасте, как я выше сказал, то ни за что не решался отказаться от своих прежних понятий, и если ему случалось высказать какую-нибудь глупость, то, считая себя непогрешимым, он поддерживал ее и в случае надоб-

ности защищал кулаками; но я думаю, он мог бы легко не впасть в такую ошибку...¹³⁴ ибо, как выразился один ученый, для ума, не довольно еще укрепленного наукой, нет большей славы, как говорить только о том, что знаешь, и молчать о том, чего не знаешь.

Обращаясь со мной столь жестоко только потому, что я не знал того, что было ему самому неизвестно, он должен был бы понять, как несправедливо требовать от слабого ума ребенка того, что не было в него вложено. Как умный человек с трудом может понять, а иногда и совсем не понимает слов дурака, так и те, которые, не зная науки, утверждают, что они знают ее, и хотят еще учить других, запутывают свою речь по мере того, как они стараются сделать себя более понятными. Нет ничего труднее, как рассуждать о том, чего не знаешь: темно и для себя, темно и для того, кто слушает, так что оба остолбенеют. Все это, Господи, я говорю не для того, чтобы запятнать имя друга, столь дорогого для меня, но чтобы каждый, читая наш труд, понял, что мы не должны выдавать другим за верное то, что существует в нашем воображении, и не должны покрывать сомнительного мраком своих догадок.

VI. Хотя мой учитель держал меня очень строго, но во всех других отношениях он показывал всеми средствами, что любит меня, как самого себя. Он занимался мною с такой заботливостью, так внимательно следил за моею безопасностью, что ничто враждебное не достигало меня; с таким вниманием он ограждал от влияния дурных нравов людей, окружавших меня, так мало позволял матери заботиться о блеске моей одежды, что, казалось, он исполнял обязанности не воспитателя, а отца, и беспокоился не о моем теле, а о душе. И я испытывал к нему такое чувство дружбы, хотя и был для своего возраста несколько тяжеловат и робок, и хотя иногда моя нежная кожа носила без всякой причины на себе следы плети, что не только не питал к нему страха, естественного в этом возрасте, но забывал всю жестокость и повиновался ему с неподдельной любовью. Вот почему мой учитель и моя мать, видя, какое оказывал я почтение им обоим, старались делать опыты, чтобы убедиться, кого я больше слушаюсь, и давали мне вместе приказания. Но вскоре представился им случай, независимо от их намерения, решить этот вопрос окончательно. Однажды, когда меня побили в школе – школою же называлась одна из комнат нашего дома, ибо мой учитель, взявшись воспитывать меня одного, оставил всех прежних своих учеников, как того требовала моя рассудительная мать, согласившись, впрочем, увеличить его жалование и дать ему значительную прибавку, – прекратив на несколько часов вечером мои занятия, я сел на колени своей матери, жестоко избитый и наверное более, чем заслуживал. На обычный вопрос своей матери, били ли меня в этот день, я, не желая выдать учителя, утверждал, что нет. Но она, заворотив против моей воли ту часть одежды, которую называют рубашкой, увидела, что мои ручки все почернели и кожа на плечах вздулась и распухла от розог. При этом виде, жалуюсь, что со мною обращаются так дурно в нежном возрасте, она воскликнула со слезами, в смущении и вне себя: «Я не хочу больше, чтобы ты был клириком и чтобы для знакомства с науками тебе приходилось испытывать подобное обращение». При этих словах, смотря на нее с гневом, как только мог, я ей отвечал: «Если бы мне пришлось умереть, то я не перестану учиться, чтобы сделаться клириком». Действительно, она мне обещала, как только я приду в возраст и пожелаю того, сделать меня рыцарем и доставить мне оружие и прочее одеяние. Когда же я с пренебрежением отвергнул подобное предложение, твоя достойная служительница, о Господи, выслушала свое несчастье с такою признательностью и столь радостно ожила духом, что сама передала мой ответ моему наставнику. Оба они пришли в восторг, что я обнаружил столь пламенную преданность званию, которому посвятил меня мой отец; с большою быстротою я изучил науки, не отказывался от церковных обязанностей, когда того требовало время или дело, даже предпочитал их еде. Но так это было только в то время. Ты же, Господи, знаешь, как впоследствии я изменился в своих намерениях, с каким отвращением я ходил на церковную службу, и только побои могли меня к тому принудить. В те

¹³⁴ Лакуна в тексте.

же времена, о Боже, у меня было, без сомнения, не религиозное [еще] чувство, вытекавшее из души, но каприз ребенка, которым я увлекался. Когда юность развила во мне дурные семена, которые я носил в себе от природы, и внушила мне помыслы, разрушившие все прежние намерения, моя склонность к благочестию совершенно исчезла. Хотя, о Боже, в ту эпоху твердая воля или, по крайней мере, подобие твердой воли, по-видимому, возбуждало меня, но вскоре она пала, извращенная самыми пагубными помыслами. <... >

XVII. Между тем и в монастыре¹³⁵, принявшись с такой необузданностью страсти писать стихи, что я предпочитал эту достойную осмеяния суету всем книгам божественного Писания, я дошел наконец до того, что, увлекаемый своим легкомыслием, имел притязание подражать поэтическим трудам Овидия и буколикам¹³⁶ и хотел воспроизводить всю нежность любви в созданиях собственного воображения и в сочинениях, которые писал. Мой дух, забыв всю строгость, которой он должен подчиняться, и отбросив всякий стыд религиозной профессии монаха, так много питался обольщениями отравляющей распущенности, что я занялся только тем, чтобы в поэзии воспроизвести все то, что говорилось в наших собраниях¹³⁷, не обращая внимания на то, как оскорбительны были для устава нашего священного ордена все подобные упражнения. Таким образом, я был весь проникнут той страстью и так помрачен обольстительными выражениями поэтов, что многое придумывал собственным воображением; иногда эти выражения производили во мне такое волнение, что я чувствовал дрожь по всему телу. А так как мой дух был постоянно возбужден и забывал всякое воздержание, то в моих произведениях раздавались только такие звуки, какие могли быть вызваны подобным душевным настроением.

Кончилось тем, что моя страсть до того возмутила всю мою внутренность, что я иногда позволял себе непристойные слова и писал небольшие сочинения, в которых не было ни ума, ни сдержанности, ни благородных чувств. Когда это дошло до сведения моего учителя, то он был в высшей степени тем огорчен, и однажды ему случилось уснуть под впечатлением грусти, которую я ему причинил. Когда он задремал, ему представилось следующее видение. Он увидел пред собою седовласого старца, смею думать, того самого, который приводил меня к нему и уверял, что моя любовь к учителю останется неизменною; этот старец объявил ему строгим голосом: «Я требую от тебя отчета по поводу этих сочинений, ибо рука сочинявшего их не одна и та же с рукою, которая их писала». Когда мой учитель рассказал мне это видение, мы оба сошлись в способе его толкования. Возлагая нашу надежду на Тебя, Господи, мы были опечалены, но вместе и радовались, видя, с одной стороны, доказательство твоего отеческого гнева, а с другой – уверенные, что это видение возвещало хорошую перемену в моих склонностях к постыдному. Действительно, если старец объявил, что рука сочинявшего и писавшего не одна и та же, то из этого прямо следовало, что эта рука не станет упорствовать в столь позорном поведении. Это была та моя рука, которая оставалась моею, когда я употреблял [ее] для порока, но она делалась неспособною к воспроизведению столь недостойных ее предметов, когда я предавался почитанию добродетели. Но Ты, Господи, знаешь, а я исповедую, что в ту эпоху ни страх перед тобою, ни стыд, ни то знаменитое и святое видение не могли возвратить меня к чистоте нравственной. С тем же бесстыдством, которое овладело мной внутренне, я продолжал писать те зазорные произведения. Втайне я сочинял стихи того же рода, хотя и не осмеливался показывать их всем или показывал только людям, подобным мне. Очень часто, скрывая имя автора, я прочитывал их встречным и радовался выслушивать похвалу от тех, которые разделяли мои чувства, что препятствовало мне еще более называть свое имя. Так как похвала относилась к автору, то мне приходилось втайне наслаждаться плодами или скорее стыдом греха. Но, мой Отец, Ты наказал такие дела, когда того восхотел. Действительно, на

¹³⁵ Гвиберт был отдан в монастырь Флавины.

¹³⁶ «Буколики» Вергилия.

¹³⁷ Имеются в виду собрания монастырской братии.

меня воздвиглись несчастья по поводу этих произведений; Ты препоясал мою душу, преданную тем заблуждениям, поясом бедствий и удручил мое тело болезнями плоти. Тогда наконец меч дошел до самой души, ибо несчастье поражает самый рассудок человека.

Таким образом, с тех пор как муки греха надоумили меня, тогда я бросил свои пустые занятия; не будучи в силах оставаться праздным и покинув игру воображения, я предался духовным предметам и перешел к занятиям более полезным. Так я начал, хотя и поздно, с ревностью работать над тем, на что мне часто указывали многочисленные и превосходные писатели, а именно я обратился к комментариям Святого Писания и особенно изучал беспрестанно произведения Григория, в которых более нежели где-нибудь заключен ключ науки; потом я начал, по методу древних писателей, объяснять слова пророков и евангельских книг, толкуя сначала их аллегорический или нравственный смысл, а потом мистический. Более всех меня поощрял к подобным работам Ансельм, аббат в Беке, сделавшийся впоследствии архиепископом в Кентерберии и бывший уроженцем заальпийской страны, из города Аосты; это был несравненный человек и по познаниям и по великой святости своей жизни. Когда он был еще приором вышеназванного монастыря, он открыл мне свои познания, и так как я, будучи мальчиком, находился в первой поре возраста и развития, то он старался с чрезвычайным благодушием наставить меня, как я должен руководить в себе внутреннего человека и управляться правилами разума для власти над своим маленьким телом. Прежде, нежели он сделался аббатом и управлял только монастырем, он часто навещал монастырь Флавины, в котором я был помещен во внимание его научного и религиозного процветания, и с такою ревностью сообщал мне плоды своей учености, с такою заботливостью старался отпечатлеть их во мне, что, казалось, я был единственной целью его посещений.

Ордерик Виталий (1075 – ок. 1142)

Норманнский священник Ордерик Виталий принадлежит к числу наиболее известных историографов начала второго тысячелетия. Его «Церковная история» остается едва ли не наиболее ценным источником для рубежа XI и XII столетий; по крайней мере она уникальна в своем норманнском материале, очень ценна в английском и, кроме того, даже в своей компилятивной части основывается на некоторых рукописях, которые не дошли до современных исследователей. Ордерик родился в 1075 г. в только что завоеванной норманнами Англии, в Шрусбери. Уже в 10-летнем возрасте отец отослал его на континент – в норманнский монастырь Сент-Эвркуль. Ордерик стал облатом, послушником, который решается принять постриг не по своей воле, но по решению своих совершеннолетних родственников; впрочем, в зрелом возрасте Ордерик ничуть не склонен сомневаться в правильности того пути, который давал ему большие шансы на спасение по сравнению со своими современниками-мирянами. Священник Сент-Эвркульского монастыря, Ордерик не очень склонен описывать свой индивидуальный опыт: созданная им «Церковная история» освещает по преимуществу деяния династии нормандских герцогов, а также историю монастыря. Тем не менее последняя, тринадцатая книга его труда все-таки содержит некоторую редкую, а поэтому и любопытную информацию о том, при помощи каких образов и каких причинных объяснений склонен был воспринимать и описывать свои детские годы один из самых выдающихся авторов латинского Средневековья¹³⁸.

Тринадцать книг церковной истории, на три части разделенные

Кн. XIII.... Царь всевышний, благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне жизнь без всяких заслуг с моей стороны и по своей благой воле расположил мои годы. Ты – мой царь и мой Бог; я – Твой раб и сын Твоей рабыни; и сколько мог служил Тебе с первых дней моей жизни. В субботу на Пасхе¹³⁹ я был крещен в Аттангаме, бург, лежащем в Англии на великой реке Северн. Там руками священника Ордерики (родом сакса) Ты меня возродил водою и духом и дал мне имя того священника, который был вместе и моим крестным отцом. После, когда я достиг 5 лет, Ты меня отправил в школу в городе Шрусбери, и там я служил Тебе в первый раз в базилике святых апостолов Петра и Павла. В течение пяти лет меня учил там знаменитый пастырь Сигвард латинским письменам, которые изобрела Никострата, получившая впоследствии прозвание Кармента. Он наставил меня псалмам, гимнам и другим необходимым сведениям. Между тем Ты, Господи, соорудил на берегах Молы, во владении моего отца, церковь, и благочестием графа Роджера (Монтгомери) устроил монастырь. Но Тебе не было угодно, чтобы я продолжал борьбу за Тебя в прежнем месте, из опасения, что я могу испытать тревогу среди своих родственников, которые часто смущают Твоих служителей, и что мне придется нарушить повиновение Твоему закону вследствие мирских привязанностей, испытываемых под влиянием кровных связей. Вот почему, о Боже преславный, Ты, который извел Авраама из своей земли, из дома отца и из среды семейства, Ты внушил и моему отцу Оделерию намерение удалить меня и предать Тебе вполне¹⁴⁰. В слезах и с плачем он вручил меня монаху Райнольду, удалил в изгнание из любви к Тебе, и с этого времени я никогда не видел более отца. Будучи юным и слабым

¹³⁸ Фрагмент «Церковной истории» приводится по изданию: *Стасюлевич М. М.* История Средних веков. 3-е изд. СПб, 1906. Ч. 2. С. 311–313. Вступительная статья А. М. Перлова.

¹³⁹ 4 апреля 1075 г., а родился Ордерик Виталий 16 февраля 1075 г.

¹⁴⁰ Отец Ордерики Оделерий из Орлеана был личным священником Роджера Монтгомери, одного из соратников Вильгельма Завоевателя. Мать Ордерики происходила из англосаксонской семьи.

отроком, я не смел противиться желанию своего отца; я повиновался ему охотно во всем, ибо он мне обещал Твоим именем, если я сделаюсь монахом, то по смерти наследую рай вместе с праведными. Заключив таким образом от чистого сердца по голосу моего отца этот договор с Тобою, я оставил отечество, ближайших родственников, остальную семью, знакомство, друзей, которые со слезами на глазах, прощаясь со мною, поручали меня в молитвах Тебе, о Господи, Всевышний Адонай!¹⁴¹ Исполни, прошу Тебя, их молитвы, о благий царь Саваоф, и в своей благодати дай мне насладиться тем, что составляло их желание!

Таким образом, я переплыл море, имея от роду 10 лет. Изгнанником прибыл я в Нормандию, никем не знаемый и никого не знал сам. Как Иосиф в Египте¹⁴², я услышал язык, которого не понимал¹⁴³. Но благодаря Твоему милосердию я встретил у чужеземцев все ласки и дружбу, какие только мог пожелать. Преподобный Майниер, аббат Утического монастыря, принял меня в монашество на одиннадцатом году моей жизни и 22 сентября постриг меня по обычаю клириков. Он заменил мое англосаксонское имя, казавшееся варварским для духа нормандцев, именем Виталия, заимствовав его у одного из спутников мученика св. Маврикия, память которого праздновалась в тот день. Благодаря Твоему, Господи, милосердию, я оставался в этом монастыре 56 лет; меня любили и чтители там свыше моих заслуг все мои братия и соотечественники. Переноса жар, холод и дневные труды, я работал вместе со своими служителями в вертограде Сорека [Суд 16:4]; и при Твоем правосудии ожидаю с уверенностью обещанный Тобою денарий. Я почитал как своих отцов и господ – так как они были Твоими наместниками – шестерых аббатов: Майниера, Серлона, Рожера и Гверина, Ричарда и Райнульфа; они правили по закону Утическим монастырем; они постоянно бодрствовали, как бы на них лежала ответственность за меня и за других, они искусно распоряжались внутри и извне и на Твоих глазах и с Твоею помощью снабжали нас всем необходимым. Мне было 16 лет, когда 15 марта, по предложению только что избранного Серлона, Гизельберт, епископ Лизьё, посвятил меня в подьяконы. После, через 2 года, Серлон, сделавшись епископом города Сеес... рукоположил меня дьяконом. В этом чине я служил Тебе от всего сердца 15 лет. По достижении мною 33-летнего возраста архиепископ Вильгельм возложил на меня в Руане 21 декабря бремя священства и со мною посвятил 244 дьякона и 120 священников, вместе с которыми я приблизился к Твоему священному алтарю, воодушевленный Святым Духом. Вот уже 34 года, как я верно отправляю свою священную службу с полною душевною радостью.

Таким образом, Господи Боже, Ты, Который меня сотворил и наделил жизнью, Ты осыпал меня своими дарами во всех званиях, которые были возложены на меня; мои годы были, по правде, посвящены на службу Тебе. Повсюду, куда Ты меня ни приводил, я был любим не по своим заслугам, но по действию Твоей благодати. За все такие благодеяния, о нежнейший Отец, я приношу Тебе благодарения, восхваляю и благословляю Тебя от всего сердца. Со слезами на глазах я молю Тебя простить мне мои бесчисленные прегрешения. Пощади меня, Господи, пощади и не покрой меня стыдом! Сообразно с своею неисчерпаемою благодатью, преклони взор Твой на дело Твоих рук; прости мне прегрешения и сотри нечистоту моей души. Дай мне добрую волю к продолжению службы Твоей и достаточные силы против ухищрений коварного сатаны, пока не приобрету наследства вечного спасения. И того, что я прошу у Тебя, о Боже всеблагий, в эту минуту для себя, я желаю также и для своих друзей и благодетелей; я обращаюсь к Тебе с тою же мольбою за всех верных по распоряжению Твоего промысла. Но наших заслуг недостаточно для приобретения вечных благ, к которому устремлены все желания людей благочестивых, о Господи Боже, отче всемогущий, творец и вождь ангелов, истинная надежда

¹⁴¹ Адонай – одно из имен Бога (древнеевр.; букв. «мой господин»).

¹⁴² Быт 37–39.

¹⁴³ Предполагают, что на момент своего прибытия на континент Ордрик, вероятно, знал латинский и англосаксонский языки, но еще не знал французского, на котором говорили в Нормандии.

и вечное блаженство праведных! Потому да поможет нам преславное заступничество святой Марии, Девы-Матери, и всех святых, и Господь наш Иисус Христос, Искупитель всех людей, который живет и царствует с Тобой, как Бог, в единстве Святого Духа, отныне и во веки веков! Аминь.

Гиральд Камбрийский (ок. 1146 – ок. 1223)

Гиральд Камбрийский (его называют еще Геральдом Уэльским или Геральдом де Барри) почти тридцать лет (1175–1204) был архидиаконом и исполняющим обязанности епископа в городке Брекнок в Южном Уэльсе, однако прославился не как церковный деятель, а как историк, создавший разнообразные и многочисленные труды. Впрочем, не совсем оригинальные – Гиральда можно назвать, пользуясь современным языком, популяризатором знаний. Написанные безыскусным слогом для читателей-мирян, его сочинения содержат рассказы о церковной жизни (особенно в его родном Уэльсе), о росте влияния университетов (Парижского и Оксфордского), о знаменитых церковных деятелях и светских владыках его времени.

Гиральд происходил из высокородной семьи де Барри и получил в юности отличное образование в Оксфорде и Париже, где он изучал каноническое право и теологию. Около 1184 г. он поступил на службу к королю Англии Генриху II Плантагенету и вскоре отправился по его приказу в военную экспедицию в Ирландию. В результате этой экспедиции им были написаны «Топография Ирландии» (ок. 1188) и «Завоевание Ирландии» (ок. 1189). Затем он совершает длительную поездку по Уэльсу вместе с архиепископом Кентерберийским Болдуином и создает два новых ученых труда: «Путешествия по Уэльсу» (1191) и «Описание Уэльса» (1194). В 1195 г. Гиральд покидает королевскую службу и целиком посвящает себя изучению теологии.

С 1199 по 1203 г. Гиральд безуспешно пытается добиться для себя епископской кафедры св. Давида, чтобы сделать ее независимой от Кентербери, восстановив тем самым ее прежнее главенствующее положение в Южном Уэльсе. О борьбе за эту должность он подробно рассказывает в своей автобиографии «О событиях моей истории». Известно, что затем Гиральд снова посетил Ирландию, а еще позднее – Рим (в 1207 г.).

Автобиография была написана (скорее всего продиктована) Гиральдом, когда ему было около 50 лет, то есть в 1204 или 1205 г. Это, может быть, самая обстоятельная и насыщенная деталями автобиография Средневековья, подробно рассказывающая о полной приключений жизни ее автора. Рассказ Гиральда о себе ведется в ней от третьего лица, возможно, в подражание знаменитым «Запискам» Цезаря. В содержательном плане сочинение Гиральда, впрочем, выглядит весьма отличным от «Записок» знаменитого полководца – это рассказ о карьере неудачника, безуспешно пытающегося занять епископскую кафедру.

Рассказ Гиральда о своей жизни обладает очевидным своеобразием, особенно в той части, где он позволяет себе едкие характеристики церковных и государственных деятелей. Эти откровения, которыми перемежается описание событий, дают отчетливые представления об отдельных чертах его характера. Некоторые ученые даже называют «О событиях моей истории» уникальным личностным документом, позволяющим проследить историю становления индивидуальности его автора. Если они и правы, то только отчасти: известно, что труд Гиральда так и не был закончен – он неожиданно обрывается. К тому же не вполне ясна степень его автобиографичности. Вероятнее всего, оно было написано не самим Гиральдом, а кем-то из близких ему людей с его слов.

Рассказ о своем детстве строится Гиральдом, что совершенно очевидно, по агиографическому канону. Это и происхождение от благородных родителей, и знамения в раннем детстве, свидетельствующие о том, что ему был уготован путь пастыря (когда другие мальчики строили из песка замки и крепости, сам он предпочитал возводить церкви, за что был прозван отцом «мой епископ»), и необыкновенные успехи в учении¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Перевод с латинского выполнен Ю. П. Зарецким по изданию: *Giraldus Cambrensis. Opera*. London, 1861. Vol. 1. P. 21 —23. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

О событиях моей истории

Глава 1

*О происхождении Гиральда, его детских и юношеских деяниях*¹⁴⁵

Итак, Гиральд, уроженец Камбрии, южной ее части, расположенной на морском побережье Дайфед недалеко от главного города Пенброк, а именно уроженец замка Манорбьер, вел происхождение от знатного рода. Ибо доподлинно происходил от матери Ангарад, дочери Несты, дочери нобилия Рис, принца Южного Уэльса (то есть сына Теодора), связанной брачными узами со славным мужем Вильямом де Барри. Будучи младшим из четырех единокровных братьев, единоутробно рожденных, он, предуготовливая будущее в детстве, никогда с тремя другими ни крепости, ни города, ни дворцы в песке или в пыли не рисовал и не строил, как подобает этому возрасту. Он один, сам по себе, следуя подобного же рода предуготовлению, всегда отдавал все свои усилия проектированию церкви и строительству монастырей. Тогда его отец, будучи притянут к этому, словно неким знамением, часто на это смотрел, внимательно и с изумлением разглядывая. Благоразумно предвидя будущее, он решил приобщить его к словесности и свободным искусствам и имел обыкновение, шутливо делая почтительные жесты, называть его своим епископом.

Случилось же, что однажды ночью, когда край был приведен в смятение вторжением врагов и все молодые люди замка наперебой бросились к оружию, мальчик, взирая на это и слыша гам, разрыдался, спрашивая, куда именно ему надлежит укрыться, и премного просил, чтоб его отнесли в церковь, с необыкновенным предвидением провозглашая, что покой церкви и неприкосновенность священного дома Божьего должны быть самыми надежными и безопасными укрытиями. Все же, кто это слышали, когда смятение улеглось, вместе поразмыслив над этими словами мальчика и побеседовав меж собой, снова с восхищением вспомнили, что он предвещал – о чудо! – большую себе безопасность в церкви, открытой игре случая и чуждым ветрам, чем в городе, переполненном вооруженными людьми и надежнейше защищенном башнями и стенами. Сверх того, как только мальчик слышал споры о положении и правах церкви и законе страны среди церковнослужителей и народа, он выступал охранителем и заступником церкви, стараясь изо всех сил. Тем же рвением вдохновлял его Бог и умножал милости день ото дня все годы и продолжал вплоть до конца его жизни. Ибо в каждый период своей жизни и при любых обстоятельствах он даже ни к чему не стремился на земле, кроме доброй славы церкви Христовой, ее преуспеяния во всем и ее почитания.

¹⁴⁵ Первой главе в сочинении предшествует вступление от имени анонимного автора-современника, который якобы записал слышанный от Гиральда рассказ о его жизни. В этом вступлении Гиральд фактически приравнивается к великим героям древних времен.

Глава 2

О неудачах в учении вначале и об успехах потом

Но мальчик вначале испытывал немалые затруднения от компании братьев, которые вместе играли в праздничные дни и вместе всячески восхваляли свое занятие воинским ремеслом. И так как он воспитывался в одних с ними условиях, продвигался в учении гораздо медленней, чем должно. Впрочем, в конце концов за него взялся блаженной памяти Давид, его дядя по матери, епископ Минива, тогда находившийся в должности. К тому же он был задет и твердо направлен на путь двумя клириками этого же епископа, из каковых один в насмешку над ним декламировал степени сравнения: «*durus, durior, durissimus*»¹⁴⁶, а другой: «*stultus, stultior, stultissimus*»¹⁴⁷. Много подстегнутый издевательствами, он потом начал преуспевать больше благодаря совести, чем розгам, и больше благодаря стыдливости, чем страху какого-либо наставника. Ибо, воистину, потом его охватила такая страсть к учению, что он за малое время далеко опередил всех соучеников¹⁴⁸ и сверстников этого края. С течением же времени, стремясь к большим знаниям и благополучию, он трижды переправлялся во Францию и трижды пребывал в Париже по многу лет, занимаясь изучением свободных искусств¹⁴⁹, и, наконец, сравнившись с лучшими наставниками, там же превосходно преподавал тривий¹⁵⁰ и особенной славы добился в искусстве риторики. И он был настолько полностью предан своим занятиям, настолько был лишен легковесности и фривольности и в делах, и в помыслах, что всякий раз, когда доктора искусств желали отличить наградой лучших ученых, называли Гиральда прежде всех других. Столь замечательный в ученом рвении и отмеченный заслугами и в первые годы жизни, и в юношеском возрасте, благодаря достоинствам, он не просто стремился к образцу совершенства, но и сам стал им.

¹⁴⁶ «Неотесанный», «неотесаннее», «самый неотесанный» (лат.).

¹⁴⁷ «Глупый», «глупее», «глупейший» (лат.).

¹⁴⁸ Известно, что Гиральд учился в школе аббатства св. Петра в Глочестере.

¹⁴⁹ «Семь свободных искусств» – система учебных предметов, состоявшая из двух циклов: начального (тривий) и продвинутого (квадривий).

¹⁵⁰ Первый цикл «семи свободных искусств», включавший грамматику, риторику и диалектику.

Никифор Влеммид (ок. 1197–ок. 1272)

Родился в Константинополе и посвятил себя духовной карьере, причем приобрел незаурядную образованность. По получении образования и начальных шагов на собственном поприще перебрался в Никею, где добился высокого положения при дворе и – одновременно – славы в ученых кругах. В 1255 г. Никифору даже предложили сан вселенского патриарха восточной православной церкви. Он предпочел отказаться. Окончил свою жизнь Никифор настоятелем основанного им самим монастыря около г. Эфеса.

От Никифора дошли трактаты по логике, естествознанию, теологии, комментарии к Псалмам, риторические декламации, придворные стихи, наконец, едва ли не самое интересное – две автобиографии в прозе, показывающие повышенное внимание к собственной личности (чувство, почти незнакомое византийской литературе предыдущих веков). Как видно из автобиографии, Никифору хотелось бы быть не только великим мудрецом и стихотворцем, но и святым, Божьим избранником¹⁵¹.

*Избранные места из автобиографии монаха и пресвитера Н икифора, ктитора*¹⁵²

Годы учения

И. Прожив шесть лет сверх шестидесяти от рождения, я решил предаться воспоминаниям о некоторых событиях моей жизни (вспоминать обо всем нет необходимости, да и невозможно) и тем самым воздвигнуть столп исповедания как помощь и спасение, как защиту и основу, благую, могучую, мудрую; хорошо сначала участвовать в этих событиях, а потом спастись из их водоворота, бури и хаоса, когда видишь и предчувствуешь крушение и знаешь о несметном множестве опасностей.

Да будет это сочинение предметом внимания и для моих близких – ведь о них я говорю немало; пусть станет оно руководством, как заслуживать милость Божию, как обратить помыслы к Господу, как посвятить только Ему и дух и тело, пусть станет оно неким предостережением и побуждением к полезным трудам.

Если для тех, кто силой Слова был приведен в мир, самое достойное – искусство речи, я напому о первой благодати, в словах содержащейся, а именно, что после творения слов она заключается в их порядке. Затем, распростившись с тем временем юности, когда к душе подкрадывается опасность из-за нерадения, потому что нет ни трезвости, ни осторожности, я снова буду излагать события по порядку, стремясь во всем сокращать свою повесть и соблюдать очередность событий, чтобы ничто из позже случившегося не опередило происшедшее ранее.

II. Итак, когда я был ребенком, я уже постиг искусство грамматики, выучив ее без малого за четыре года. Я не был ни тупым, ни слишком одаренным, но любознательность и усердие в равной мере возместили природные недостатки. С большим рвением приходил я в школу раньше, а уходил позже других, и, после того как все ученики уходили, я долго бывал наедине с учителями, – от них я брал знания только для себя. А к тому же еще мне достались в удел, по

¹⁵¹ Фрагмент автобиографии в переводе Л. А. Фрейберг печатается по изданию: Памятники византийской литературы IX–XIV веков. М., 1969. С. 324–325.

¹⁵² Ктитор – дословно «основатель», здесь попечитель, покровитель.

счастью, лучшие наставники в науках духовных, и я узнал от них, Кто научает человека разумению. И я не отвратился от Него, а молил дать мне разум и руководство во всем остальном.

После грамматики я приобщился к поэмам Гомера, к другим поэтам и к афтониевым прогимнастам и к «Риторике» Гермогена¹⁵³, а в философии, когда прошли шесть сверх десяти лет от моего рождения или что-то около этого, я попробовал науку логики.

Выучив «Звуки», «Категории» и «Искусство истолкования»¹⁵⁴, я стремился к еще более высокому совершенству в искусстве риторики, но у меня не было руководителя. Вместе с этим я занимался также врачебным искусством и умозрительно и практически. Ведь это было занятием отца, которое кормило меня до семи лет.

III. Когда же истек двадцатый год моего рождения, если бы Господь не помог мне, я погрузился бы, подобно камню, в настоящую пучину бедствий из-за собственного бессилия, неумения распознать окружающих и увидеть, от чего исходит вред. Ведь пока мы чужды дружбы и презираем любовь, мы проводим жизнь в близости к одному Богу и целиком устремляем к нему взор, полностью отдаваясь познанию. Когда же мы обратились к любви и дружбе, вокруг нас поднимается неодолимая буря.

¹⁵³ Афтоний – софист и ритор III–IV вв., автор «Прогимнасм» – учебника риторики. Гермоген – ритор II–III вв., автор многих сочинений по теории красноречия. См.: *Гермоген. Об идеях, или О видах слога* // Разыскания. Вопросы классической филологии. Вып. VIII. М., 1984. С. 88–160; *Гермоген. Введение к трактату «О видах речи»* // Проблемы литературной теории в Византии и латинском Средневековье. М., 1986. С. 170–177.

¹⁵⁴ Перечислены логические сочинения Аристотеля.

Петр из Мурроне (Целестин V) (1215–1296)

Петр из Мурроне, впоследствии римский папа Целестин V, родился в местечке Исерния на юго-востоке Италии в 1215 г. С юных лет он имел страстное желание жить в уединении, целиком посвятив себя служению Богу, и в возрасте двадцати с лишним лет стал отшельником. Три года он прожил на горе Поллено, затем, приняв в Риме сан священника, отправился на гору Мурроне, где провел еще пять лет. Впоследствии он основал монашеский орден целестинцев и до глубокой старости жил отшельником, почитаемый народом как святой. 29 августа 1294 г. восьмидесятилетний Петр по инициативе Карла II Анжуйского избирается главою Римской церкви. Однако он сразу же начинает тяготиться новым высоким положением, видя свое предназначение в уединенном служении Господу. После мучительных раздумий он делится идеей своего отречения с некоторыми из кардиналов и получает их поддержку. 13 декабря 1294 г. было объявлено об отречении Целестина V. Остаток своей жизни Петр провел в заточении в замке Фумоне, где и умер 19 мая 1296 г. Спустя семнадцать лет он был канонизирован Климентом V.

Автобиографическое «Жизнеописание» («*Vita*») – самое известное из сочинений, приписываемых святому. В нем достаточно стройно и подробно описывается вся его жизнь от рождения до призвания на папский престол, причем значительное внимание уделяется при этом разного рода чудесам и посетившим его видениям. Считают, что оно было составлено отшельником перед его избранием папой как своего рода завещание и назидание братии. Аутентичность автобиографии признается большинством биографов Целестина, в том числе и официальными историками католической церкви. Главным их аргументом является приписка в начале сочинения, повторяющаяся во всех сохранившихся рукописях и гласящая, что оно – не что иное, как жизнеописание папы, «которое он сам своей собственной рукою написал и в своей келье оставил» (*quam ipse propria manu scripsit et in cella sua reliquit*). Скептики утверждают, что папа не мог быть автором этого сочинения (так же, как и других), поскольку едва ли умел сам писать на латыни, и что это скорее не автобиография, а биография, составленная одним из учеников почтенного старца. На самом деле, по-видимому, правы и те и другие. Известно, что в монашеской среде в Средние века широко практиковалась запись младшей братией рассказов и изречений монахов, чтимых за их мудрость и святость. Устный рассказ старца о своей жизни таким образом легко мог превратиться в законченное литературное произведение.

Описание детства в «автобиографии» Целестина полно агиографических клише. Так, Господь неоднократно посылает знаки, указующие на особую святость ребенка и его матери. Он также во сне дает знать матери Петра, что в будущем мальчик взойдет на папский престол. И все же некоторые детали этого описания выходят за рамки житийной традиции, привнося в него живые индивидуализирующие черты – взять хотя бы упоминание о ночных страхах мальчика или рассказ об угрозах наказания ангелами за слова, которые он не произносил. В целом же смысл и место детства в автобиографическом повествовании Целестина вполне ясно определены. Это период, когда Небеса дают знать о судьбе, предначертанной человеку¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Перевод отрывка «Жизнеописания» выполнен Ю. П. Зарецким и М. А. Зеленской с сохранением, насколько это было возможно, синтаксических особенностей оригинала по изданию: *Frugoni A. Celestiniana* / Intr. di C. Gennaro. Roma, 1991. P. 56–59. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

Жизнеописание

... Вначале же скажу нечто о моих родителях, имена которых таковы: Анджелерио и Мария. Были же они оба, как я полагаю, честны перед Богом и среди людей весьма почитаемы. Простые, праведные и богобоязненные, скромные и миролюбивые, не откликающиеся злом на зло, они с великой радостью давали милостыню и приют бедным. Так же как и патриарх Иаков, они произвели на свет двенадцать сыновей, постоянно прося Господа, чтобы кто-нибудь из них стал верным слугою Бога. Ради такой возможности они отправили обучаться наукам второго сына. И когда тот повзрослел, то стал мужем весьма красивым и достойным сообразно суетности этого века, но все-таки не настолько озабоченным служением Богу, как того хотели его родители. Когда же отец почил в благой старости, жена, оставшись с семьей сыновьями (поскольку остальные уже умерли) и видя, добрая женщина, что ее сын клирик вопреки ее желанию не столь предан вере, всем сердцем опечалилась и сказала: «Увы мне, несчастной, стольких сыновей я родила и вырастила и ни одного из них не вижу слугою Бога!» Одиннадцатому же сыну было тогда шесть или семь лет, и в нем Бог чудесным образом обнаружил свою благодать, потому что все благое, что он слышал, сохранял в сердце и пересказывал своей матери, часто повторяя: «Хочу быть преданным слугою Бога». Поняв это, мать сказала себе: «Отдам этого моего сына учиться и, может быть, к нему Господь будет более благосклонен, чем к другому сыну, и если тот умрет, этот мне останется». Как она говорила, так и случилось, поскольку тот, который стал монахом, в скором времени умер, и его пережил мальчик, к тому времени еще мало познавший науки. Но дьявол, который всегда является противником всему благому, стал бороться за него и за его близких. Сначала он искушал мальчика в нежелании учиться и братьев мальчика в непослушании. Поэтому они, как могли, противились матери, говоря: «Нам достаточно одного ничего не делающего» (поскольку клирики в их местности действительно не работали). Искушал дьявол также одного богатого человека этого края, который ластился к мальчику, говоря: «Желаю сделать тебя своим наследником». Был также один демон (в чем я твердо убежден, поскольку таковым он мне виделся, хотя я и был ребенком), который говорил, что исполняет Божью волю, и говорил матери: «Что ты наделала? Забери его из школы и отправь учиться другого, младшего сына, поскольку этот никогда не станет слугою Бога, как ты надеешься, ибо скоро умрет так-то и так-то». Мать это сильно печалило, но все же она не прекратила из-за его слов делать, что могла [для обучения сына].

Она вспоминала один случай, который произошел при рождении мальчика, так как, по ее собственным словам, когда мальчик вышел из материнского чрева, он был облачен в некое подобие церковных одежд. И вспоминала о другом случае, который произошел в первый день, когда мальчик начал читать. В ту ночь явился ей ее муж и сказал, обращаясь к одной из кумушек: «Определила моя жена нашего сына учиться. Какое это благо для меня и для нее и для многих других! Скажи же ей от моего имени, что, если она меня почитала, пусть покажет это и, сделав все возможное, доведет начатое дело до конца». Тогда мать вопреки воле сыновей произвела вычет из семейного имущества, причитавшегося им по наследству, и заплатила учителю за обучение мальчика, к которому Бог проявил столь великую благосклонность, что в скором времени он уже читал Псалтирь. Когда он был еще [маленьким] мальчиком и настолько малосведущим, что не различал изображенные на Кресте образы Пресвятой Девы и святого Иоанна, он все же видел их спускающимися с Креста. И взяв книгу, из которой мальчик читал, оба, то есть Мария и Иоанн, необычайно сладкозвучно распевали из нее псалмы. Мальчик сообщил все это матери с большой радостью. На что мать ему сказала: «Смотри, сын, никому не говори [об этом]». Также, когда еще мальчиком он шел с другими мальчиками играть, его искушал дьявол, чтобы он говорил непристойные слова, которых мальчик даже не знал. Но когда наступала ночь, он видел в снах, что находится в церкви, где днем читал, и это было у

алтаря. И вдруг сверху спускались ангелы и окружали мальчика со всех сторон, грозя и говоря: «Зачем ты такое говорил? Остерегайся в другой раз такое говорить». И один говорил другому: «Побейте его; почему он сказал это?» Однако никто его не бил. Это и многие другие благие назидания всегда являлись ему в видениях. И когда он говорил о них матери, она запрещала ему рассказывать о них кому-либо, и он не рассказывал. Мать же [однажды] увидела в своих снах этого мальчика пастухом множества овец, белых как снег. Это ее необычайно опечалило, и, даже проснувшись, она продолжала оставаться весьма грустной. Но на следующий день, встретив этого сына, которому тогда было уже двенадцать лет, сказала ему: «Сын, я видела сон об одном клирике». Сын тотчас ей ответил: «Это будет пастырь добрых душ». Услышав это, она радостно и весело сказала сыну: «Сын, это ты. Вверх себя Господу».

Много чудес явил Бог матери этого мальчика, каковы же этот сын видел своими глазами. Сначала, когда в возрасте тридцати с лишним лет ее поразила тяжелая болезнь, так что отнялась правая сторона тела, из-за чего она в один из дней почувствовала сердцем, что нужно идти в одно из святых мест. И, сделав это, за одну ночь исцелилась. Также этот ее сын, когда был трехлетним мальчиком, повредил глаз острой палкой и ослеп на правый глаз, так что медики и все, кто его видел, говорили, что глаз он потерял. Она же, веруя в Пресвятую Деву, отнесла его в одну из церквей Пресвятой Девы и осталась там с сыном на всю ночь. И тогда утром обнаружилось, что глаз здоров, без бельма. А также когда другой сын, который был женат, вязал колосья в снопы, пшеничный волосок прилип к его глазу и столь прочно засел в нем, что никто не мог его вытащить. И так много дней он мыкался туда-сюда в поисках помощи и не находил ее, крича днем и ночью от невыносимой боли. Мать же, скорбя и печальась, однажды ночью обратилась к Пресвятой Деве и сказала ей: «Моя Госпожа, верни глаз этому моему сыну, как ты другому моему сыну раньше вернула». На рассвете тот сын, который был клириком, посмотрел в глаз брата и [увидел, что] этот волосок находится в середине глаза, торча наружу. [Тогда] он сам, доподлинно, просто ухватил его пальцами и вытащил из глаза. Также однажды во время великого голода истощились их запасы хлеба, и она не могла найти способа спастись. Отчего однажды ночью она обратилась к Богу, прося и моля его, чтобы он проявил милосердие к ее сыновьям и не дал им умереть от голода. Когда же настало утро, она сказала [одному] своему сыну: «Сын, возьми серп и пойди в поле, и поищи там – может быть, Бог смиростивится к нам и мы не умрем от голода». Было же это до начала времени жатвы. Сын отказался и не захотел идти: «Зачем я пойду? – сказал он. – Нива же еще зеленеет, и я ничем не смогу помочь». Но все же в конце концов он дал согласие и пошел в поле и нашел в середине его ту белую и сухую ниву, которая была столь необходима. И в этот же день он собрал урожай, смолотил зерно, отвез его на мельницу и возблагодарил Бога. Наша мать также очень почитала святых и чтит их праздники. Так на Усекновение главы святого Иоанна, за день раньше, надлежало печь хлеб. В этот вечер она захотела поставить опару, для чего стала с благоговейным страхом лить воду в муку; и вдруг тотчас вся мука превратилась в червей. Тогда в ужасе она упала на землю, взывая к Богу со словами: «Господи, помилуй меня». И немедленно мука обрела свой первоначальный вид.

Мальчик же все больше и больше кипел желанием служить Богу, особенно стать отшельником. И поскольку не знал, что отшельник может иметь рядом спутника, конечно же, считал, что ему всегда нужно будет быть одному, а он очень боялся ночных видений и, пребывая [из-за этого] в нерешительности, не знал, что следует делать (в его местности не было ни одного Божьего слуги, который мог бы дать ему совет). Так шло время и он достиг возраста двадцати с небольшим лет.

Часть 2

Раннее новое время

Воспоминания о детстве в эпоху Возрождения, Реформации и Контрреформации

Революционность периода XIV–начала XVII в. в общем ходе европейской истории, долгие годы считавшаяся бесспорной аксиомой, сегодня все чаще подвергается сомнению. Это сомнение свидетельствует о глубоких переменах, происшедших в европейском сознании в послевоенные годы и приведших если и не к полному «краху традиционной драматической организации истории Запада»¹⁵⁶, то к совершенно очевидному ее радикальному пересмотру. Действительно, многие историки заметили, что более чем трехсотлетний период, который они считали началом современной эпохи, временем «открытия индивидуальности»¹⁵⁷, по своей глубинной сути не столь уж отличен от средневекового. Они обратили внимание на то, что в эти столетия общество продолжало оставаться преимущественно аграрным и, соответственно, жизнь людей в нем подчинялась природным циклам. Индивид в этом обществе также представлял собой звено во всеобщем круговороте времени, был частью постоянно воспроизводимого семейного, родового, социального целого. Цель его существования, следовательно, мыслилась не столько в том, чтобы прожить свою собственную жизнь, сколько в том, чтобы передать жизнь следующему поколению. Отсюда и ребенок виделся в этом обществе, по образному выражению французского исследователя Жака Жели, «отростком родового древа»¹⁵⁸.

Однако даже самые горячие сторонники идеи «долгого Средневековья» не ставят под сомнение то обстоятельство, что в этот период отношение к ребенку в Европе существенно меняется. Эти изменения, ставшие впервые заметными с конца XIV в. в среде зажиточных горожан ренессансной Италии, в начале XVI в. обретают новый импульс, в результате которого процесс перемен охватывает почти всю Западную Европу.

Что же произошло? Какие «индикаторы» позволяют делать такого рода заключения? Исследователи указывают на самые разные приметы, относящиеся к социальной, экономической, ментальной, интеллектуальной сферам общественной жизни. Еще в XIV в. появляются первые реалистические изображения ребенка в живописи и скульптуре, а с XVI в. начинают печататься первые книги для детей¹⁵⁹. Общество начинает обсуждать множество «детских» вопросов, которые никогда не занимали его раньше. Среди них – целесообразность вскармливания младенца молоком кормилицы (не противоречит ли это законам природы?) и еще один, имеющий символическое звучание, – о возможном вреде пеленания младенца. Не является ли, спрашивают авторы XVI в., словно предвосхищая споры Нового времени, такое раннее ограничение свободы вредным для физического здоровья и общего развития ребенка? В частных письмах и мемуарах XVI–XVII вв. начинают встречаться наблюдения о переменах, происходящих с современными детьми, их отличиях от детей прежних лет, отмечается, например, что

¹⁵⁶ Bowsma W. J. The Renaissance and the Drama of Western History // The American Historical Review. 1979. № 84. P. 1.

¹⁵⁷ Буржардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2 т. СПб., 1904–1906.

¹⁵⁸ Jelis J. The Child: From Anonymity to Individuality // A History of Private Life. Part III: Passions of the Renaissance / ed. R. Chartier; Tr. A. Goldhammer. Cambridge (Mass.), 1989. P. 309–310.

¹⁵⁹ Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: Реферативный сборник. М., 1982. С. 222, 224.

теперь они стали более живыми и зрелыми¹⁶⁰. О детях и детстве вообще в это время стали больше думать и говорить.

Едва ли, впрочем, будет правильным изображать характер этих перемен как простой сдвиг отношения общества к ребенку от индифферентного к заинтересованному. Часто декларируемое безразличие к ребенку в Средние века – скорее всего миф. Но точно так же мифом следует считать и то, что с XVI в. в отношении к нему господствует тотальный пиетет. Множество свидетельств демонстрируют, что в это время соседствовали обе тенденции. Новое отношение к детству, родившееся в XVIII в., – *наше* отношение – явилось результатом гораздо более глубоких, беспрецедентных в европейской истории перемен не только в экономической, социальной и культурной жизни общества, но и в его сознании, в особенности в отношении к таким фундаментальным понятиям, как «жизнь», «тело», «индивид».

Нельзя не сказать еще об одном. Раннее Новое время в европейской истории отмечено стремительным ростом интереса индивида к самому себе. Один из показателей этого – резкое увеличение числа автобиографических сочинений. В XIV—XVII вв. их создаются уже не единицы, а многие десятки, практика создания автобиографий распространяется далеко за монастырские стены и становится делом самых разных общественных групп: профессиональных литераторов-гуманистов, художников, купцов, дворян, бюргеров. Воспоминания людей о своей жизни в это время становятся более обстоятельными и более насыщенными непосредственно-личностным звучанием. Все это в полной мере характерно и для воспоминаний о детстве. Краткие малозначащие упоминания о нем [например, в автобиографиях двух гуманистов: величайшего флорентийского поэта Франческо Петрарки (1304–1374) и греческого ученого и политического деятеля Димитрия Кидониса (ок. 1324–ок. 1398)] – скорее исключения. Детство в памяти писателей XIV—XVI вв. – это отдельный, живой и несомненно значимый период жизни.

* * *

Изменение биографических моделей рассказов о детстве. На рубеже Нового времени средневеково-христианские модели изображения детства, в основе которых лежал агиографический канон, хотя и продолжают определять сюжетную канву большинства автобиографических рассказов, претерпевают все же существенные изменения. Причем эти изменения имеют самый разнообразный характер. В одних случаях пронизывающая их антитеза грешного, земного, человеческого и возвышенного Божественного начал начинает наполняться живым личностным содержанием. Так, страницы «Книги жизни» св. Тересы Авильской (1515–1582), говорящие о ее детских годах, проникнуты искренней болью за то, что она не смогла сохранить дары, ниспосланные ей от рождения Господом. Ведь детство для нее (в отличие от Августина, настаивавшего на изначальной греховности ребенка) – период, когда эти дары находятся в человеке в наиболее чистом и незамутненном виде; их порча происходит позднее, в отрочестве и юности¹⁶¹.

В других случаях средневековый биографический канон трансформируется почти до неузнаваемости. Совершенно по-особому вспоминает о своем детстве флорентийский золотых дел мастер и скульптор Бенvenuto Челлини (1500–1571). Понятие греховности его человеческого существа в этих воспоминаниях совершенно отсутствует, а понятия избранничества и святости наполняются новым содержанием. Рассказ о самом себе в значительной мере строится у Челлини по тем биографическим клише, которые родились в ренессансной художественной

¹⁶⁰ Jelis J. Op. cit. P. 317–320.

¹⁶¹ См. текст первых двух глав воспоминаний Тересы в: Варьяш О. И., Зарецкий Ю. П. Святая Тереса Авильская и ее «Книга жизни». Перевод и комментарии // Вестник Университета Российской Академии Образования. 1997. № 2(3). С. 99–108.

среде и нашли воплощение в знаменитом сочинении Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Рождение художника изображается здесь как чудесное явление на свет Божьего избранника. Особая близость Богу обязательно должна проявиться в каких-то чудесных знамениях, благоприятных сочетаниях звезд и пр. У Микеланджело таким знамением было внезапное озарение отца, определившее имя новорожденному. Назвав сына Микеланджело, говорит Вазари, «отец хотел этим показать, что существо это было небесным и Божественным в большей степени, чем это бывает у смертных». Богоизбранность младенца, по мнению того же Вазари, подтверждалась и его гороскопом: «При его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило знаком того, что искусством рук его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные»¹⁶². В изображении Челлини акт его собственного рождения выглядит очень похоже. Он подчеркивает, что родился в особое время, «в ночь Всех Святых, после Дня Всех Святых, в половине пятого, ровно в тысяча пятисотом году»; что его появление на свет было большой неожиданностью для всех, едва ли не чудом; что новорожденный был в «прекраснейших белых пеленах». И здесь тоже мы встречаем внезапное озарение отца: «Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал: “Господи, благодарю Тебя от всего сердца; этот мне очень дорог, и да будет он Желанным”» [по-итальянски – Benvenuto]. Бенвенуто, так же как Микеланджело и другие великие мастера, является в мир прежде всего дабы создать совершенные произведения искусства. Но не только. Ему уготовано небом совершить множество и других великих дел, сравнявшись в них с величайшими героями древности и современности, а то и превзойдя их. Свидетельства этой богоизбранности – знамения, которые сопровождают его в детстве: сначала – спасение по воле небес от укуса огромного скорпиона, затем – чудесное видение в огне саламандры.

В автобиографии итальянского гуманиста, архитектора и теоретика искусства Леона-Баттиста Альберти (1404–1472) также рисуется образ детства, далекий от средневековых агиографических моделей. Это период раскрытия безграничных способностей человека, идеального *l'uomo universale*. Герой Альберти легко научается «всему, что подобает знать благородному и свободно воспитанному человеку», и во всех науках и искусствах неизменно достигает успеха. Он «с чрезвычайным усердием занимался не только военными упражнениями, верховой ездой и искусством игры на музыкальных инструментах, но и всякими изящными искусствами, а также изучением самых необычайных и труднейших предметов». Кажется, нет такой области благородных занятий, которую не освоил этот герой в юные годы и в которой не достиг успеха: словесность, живопись, физические упражнения, верховая езда, военные игры, музыка, пение. Большую часть рассказа Альберти о его детстве и юности занимает как раз перечисление разнообразных видов деятельности, которые он с успехом осваивал.

В средневековых биографиях расхожим топосом является указание на «положительных» (как правило, благородных и обязательно благочестивых) родителей и их безусловно позитивную роль в воспитании героя. В историях жизни раннего Нового времени образы отца или матери выглядят далеко не всегда идиллически. Так, Варфоломей Састров (1520–1603), отметив, что его родители «были хорошего воспитания», тут же добавляет: «Мой отец был, правда, слишком вспыльчивым, и, когда его охватывал гнев, он не знал меры». И дальше изображает страшную сцену: «Однажды он очень сильно разгневался на меня. Он стоял внутри конюшни, а я в воротах. Тогда он схватил сенные вилы и с силой метнул их в меня. Я отскочил в сторону. Но бросок был таким сильным, что вилы вонзились глубоко в дубовый косяк купальни, и потребовалось немало усилий, чтобы вытащить их оттуда». Такое поведение отца не вызывает, впрочем, открытого осуждения автора. Мораль, которую извлекает из этого навсегда запечатлевшегося в его памяти случая Састров, незамысловата и вполне предсказуема в

¹⁶² Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1971. Т. 5. С. 213.

рамках христианских представлений об искушениях Сатаны и спасительном вмешательстве Господа в человеческие дела – это были «козни дьявола», которые «милостивый Бог в своем всеведении расстроил».

У писателей XIV—начала XVII в., как и раньше у средневековых, детство во многом ассоциируется с годами учения. Умение читать и писать, знание латыни и классических авторов, овладение основами наук – это главное, что, по их мнению, должен обрести человек в возрасте примерно от 6–7 до 16–17 лет. Как и раньше, их воспоминаниям об учении часто сопутствует боль от перенесенных несправедливостей и жестокостей со стороны наставников. Картины, рисуемые авторами, тут одна мрачнее другой. Итальянский педагог-гуманист Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408) почти весь рассказ о детстве посвящает осмыслению своего сурового опыта пребывания в школе некоего Филиппино да Луго. «Терпя безумную жестокость Филиппино, – признается Конверсини, – я упрямой душой возненавидел ученье и всех учителей». Главный вывод Конверсини из этого опыта состоит в том, что учителям непременно следует проявлять доброе отношение к их ученикам: «Заблуждаются те, кто считает, что при обучении детей грамоте стоит прибегать к жестокости. Педагоги добиваются большего умеренностью и милосердием, ибо от мягкого обращения и любой похвалы воспламеняется благородная душа и становится расположенной следовать туда, куда зовет рука ваятеля...»

Свирепство школьного учителя навсегда запомнилось и Йоханну Бутцбаху (1477–1516 или 1526). Спустя много лет он с явным удовлетворением добавляет в своем жизнеописании, что после одного из жестоких истязаний его наставник-мучитель был изгнан из школы и переведен в городские: «Так из эрфуртского бакалавра получился мильтенбергский полицейский... Ибо это только справедливо, чтобы тот, кто не захотел умерить свою жестокость по отношению к детям, должен был проявлять ее по отношению к злодеям и бунтовщикам».

Но ученичество вовсе не рисуется всеми авторами XIV–XVII вв. исключительно в мрачных тонах. В их рассказах, хотя и нечасто, можно встретить и выражения любви к школьному наставнику, и хвалы педагогическому мастерству. Так, доктор теологии лютеранин Якоб Андреэ (1528–1590), по его собственным словам, был отдан в школу «к весьма ученому и обладающему необыкновенным талантом учить детей наукам мужу, которого ученики любили и почитали как родного отца... Он редко приказывал приносить в школу розги, не чаще, чем раз в семестр, предпочитая побуждать юношество к успехам в учении похвалами, соревнованиями или же строгими порицаниями». Здесь мы словно видим реализацию на практике того подхода к ученику, о котором только мечтал Конверсини.

Удивительную картину своего воспитания и обучения в первые годы жизни рисует выдающийся французский мыслитель Мишель Монтень (1533–1592). Она свидетельствует о существовании в его время совершенно особого отношения к ребенку – как к нежному легкоранимому созданию и одновременно как к личности, обладающей собственным достоинством и врожденными благими задатками. Трудно представить, что речь в рассказе писателя идет о середине XVI века, а не, скажем, XIX, настолько передовыми для его времени выглядят педагогические принципы, которыми руководствовался отец юного Мишеля, создавая условия для становления его личности. «Моему отцу, среди прочего, – пишет автор, – советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что – во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который дети погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, – мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из служающих мне».

Детство в протестантских автобиографиях XVI – начала XVII в. Многие исследователи считают, что «открытие детства» произошло в рамках протестантизма, и объясняют это особой требовательностью протестантов к обучению ребенка грамотности и его ранним приобщением к чтению Библии. Поскольку, согласно учению Лютера, спасение души – личное дело каждого, и происходит оно через Божье Слово, Библия должна быть в каждом доме, и ее нужно читать с самых ранних лет. Отсюда важность обучения детей и особое внимание к детскому возрасту, самой идее детства, когда человек приобщается к Богу. Впоследствии концепция детства нашла глубокую теоретическую разработку в сочинениях протестантских моралистов XVII в.¹⁶³

В автобиографиях протестантских писателей действительно обнаруживается пристальный интерес к годам детства и учению. Они охотно и часто довольно непосредственно рассказывают о разных событиях, случившихся с ними в это время: детских проказах, родительских наказаниях, чудесных спасениях от нечаянной гибели и болезней, предназначенных свидетельствовать о Божественном покровительстве над героем/автором, подробно сообщают об овладении ими навыками чтения и грамотности.

Во многом типичным для раннего протестантизма является образ детства, запечатленный в автобиографии шотландского священника Джеймса Мелвилла (1556–1614)¹⁶⁴. Здесь нужно иметь в виду, что все его сочинение, написанное в жанре религиозной автобиографии, – это рассказ не столько о жизни самого автора, сколько о проявлении по отношению к нему Божественной благодати. В самом начале Мелвилл утверждает, что намеревается «запечатлеть на бумаге благодать Господа, дарованную ему с первого его зачатия и отмеченного дня его рождения». Отсюда и построение им сюжетов, и несколько необычный для такого рода личностных сочинений приподнято-торжественный тон, напоминающий стиль религиозно-полемических трактатов деятелей шотландской Реформации.

Он немало внимания уделяет рассказам о людях, наставлявших его в детстве на путь истинный, прежде всего о «добропорядочных, благочестивых и честных» родителях, которые были «освящены светом Евангелия». Еще в младенчестве Мелвилл потерял мать и воспитывался отцом и старшей сестрой. Об отце-священнике говорится как о «человеке редкой мудрости, рассудительности и благоразумия», ученике знаменитого Филиппа Меланхтона. Сестра Джеймса стремилась воспитать его в духе доброты и искреннего благочестия, пресекая негативные проявления его натуры кротким укором и доверительным отношением.

Вера Джеймса значительно окрепла в ходе его обучения в школе. Там его наставляли в «разумном страхе» и благочестии, уча читать молитвы и Священную историю. Описание школьной жизни у него полно драматизма, за которым автору видится глубокий религиозный смысл: свои шалости и проступки, так же как и расплату за них, он трактует как проявления Божьего возмездия и напутствия. Все, что с ним происходит, имеет высшее Божественное значение и высшую справедливость. «Господь, – заключает Мелвилл, – сделал моими учителями всех тех, кто встречался мне, все места и действия, но увы: я никогда не пользовался ими так плодотворно, как позволяли обстоятельства...»

Автор много и подробно сообщает также о своем круге чтения в эти годы, чрезвычайно насыщенном. Это прежде всего Библия, Катехизис, молитвы, затем разного рода дидактические сочинения, содержащие основы наук, античная поэзия (Вергилий, Гораций) и драма (Теренций), эпистолярное наследие Цицерона, различные сочинения Эразма Роттердамского. Параллельно через сестру он знакомится с творчеством шотландского поэта Дэвида Линдсея, в

¹⁶³ См.: Кошелева О. Е. «История детства» как способ реконструкции и интерпретации историко-педагогического процесса в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / под ред. Г. Б. Корнетова и В. Г. Безрогова. М., 1996. С. 209–210.

¹⁶⁴ Здесь использованы биографические материалы, подготовленные К. Г. Челлини.

драмах которого гуманистическое начало соединялось с критикой нравов духовенства и призывами к проведению королевской Реформации.

Важнейшее место в детских воспоминаниях Джеймса занимает память о его религиозном опыте, начавшемся с прозрения в результате чтения Священного Писания. Он отмечает, что «Дух освящения» начал рождать некое движение в его душе около восьми или девяти лет. Именно тогда он «стал молиться, укладываясь спать и вставая и прогуливаясь один по полям». Собственно и заканчивается детство для него событием высокого религиозного звучания, когда на тринадцатом году жизни он «принял причастие тела и крови Христовой впервые в Монроузе, с большим почитанием и смыслом...».

Протестантская автобиография, впрочем, не сводится к чисто религиозной проблематике. Она богата разнообразием и сюжетов, и авторских манер повествования. В описаниях детства XVI–XVII вв. можно встретить немало живых бытовых сцен, порой переплетающихся с религиозной полемикой и неожиданными антиримскими выпадами. Так, Варфоломей Састров охотно и весело рассказывает, что неприятие «папизма» проявилось у него еще в самом раннем возрасте, причем довольно своеобразно: как-то малышом, сопровождая мать-католичку, пришедшую помолиться в церковь, он сделал маленькие кучки (как он сам это называет, «маленькие пахучие жертвы») у всех трех церковных алтарей. В «Мемуарах» Ганса фон Швайнихена (1552–1616) – иной, особый случай: рисуемый им образ детства – это детство придворного. Мы видим мальчика, хотя и воспитывавшегося в страхе Божьем, но в силу своего возраста совершающего проказы, не очень стремящегося к знаниям, охотно служащего своему господину и даже радостно терпящего от него оплеухи, с юных лет неудержимо любящего развлечения и светскую жизнь.

Калейдоскоп образов детства. Трудно не поразиться богатству и разнообразию впечатлений авторов этого времени о своем детстве. Это разнообразие, обусловленное причинами социального, культурного, личностного характера, находит выражение в выборе и построении автобиографических сюжетов, расстановке акцентов, самой «фактуре» жизненного материала, особенностях индивидуального опыта.

По-особому предстает детство в изображении итальянского врача, математика, натурфилософа и астролога Джироламо Кардано (1501– 1576). В своих ученых трудах и в своей автобиографии, которую он, по-видимому, также относит к ученым сочинениям, обнаруживается новый подход к пониманию человека, вписывающийся в изменившуюся картину мироздания¹⁶⁵. Кардано убежден, что все в мире взаимозависимо и эти взаимосвязи скрыты от обычного взгляда, но доступные взору мудреца. Поэтому он фиксирует свое внимание на самых разнообразных деталях своего детства (ничто не может быть здесь второстепенным!): описывает свою внешность, все необычные случаи, с ним происшедшие, влияние расположения звезд при его рождении на складывание его характера и всю дальнейшую судьбу, перенесенные болезни (разнообразные и часто необычные), чудесные спасения от гибели, непростые отношения с родителями, часто относившимися к нему неоправданно сурово. Главная особенность этого детского автопортрета, пожалуй, заключается в том, что Кардано изображает себя, как он сам говорит, «аномальным». Все его автохарактеристики указывают на его несходство с другими детьми, причем отличается он от них вовсе не в лучшую сторону. А некоторые особенности или «признаки» Джироламо-ребенка, которыми автор, будучи уже в преклонных годах, считает необходимым поделиться с читателями, просто поразительны. Он сообщает, что появился на свет с длинными черными курчавыми волосами без всяких примет жизни; что на четвертом году ему стали являться причудливые образы и видения, созерцанию которых он охотно предавался лежа по утрам в постели; долгое время ночью его ноги никогда не

¹⁶⁵ См.: Брагина Л. М. Гуманистические традиции в этико-философской концепции Джироламо Кардано // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 144–157.

могли согреться ниже колен, что все считали знаком того, что ребенок не проживет долго; что по ночам он покрывался испариной; наконец, что во сне ему стал часто видиться кошмар в образе петуха, пытающегося заговорить. Все это, по мнению Кардано, очень важно знать, все это характеризует его самого и его место в мире, хотя понять до конца, что же именно кроется за этими знаками исключительности, едва ли дано кому-нибудь из людей.

Мемуары королевы Франции и Наварры Маргариты Валуа (1553–1615) рисуют ребенка в совершенно ином контексте и демонстрируют совершенно иное восприятие первых лет жизни. Образ, созданный в них, – это прежде всего образ *puella politica*, девочки-политика. С самого раннего возраста Маргарита оказывается втянутой в придворные интриги: выбор фаворита, достижение особой близости с королевой-матерью, исполнение поручений брата, герцога Анжуйского, при дворе, и все это на фоне событий большой европейской политики – вот, собственно и все, что помнит (или хочет помнить) Маргарита о своем детстве. Этот период мало чем отличается для нее от этапа взрослости, наступившей очень рано. Хотя отличия, конечно, есть – детство излишне наполнено суетными малополезными делами. «Теперь, глядя в свое прошлое, с пренебрежением думала я о детских забавах, о танцах, охоте, о друзьях детства, презирая все это как глупость и суету» – так вспоминает она свое прощание с ним.

Воспоминания о своих юных годах купца и путешественника Джона Сандерсона (1560–ок. 1627) напоминают содержимое маленького сундучка коллекционера – любителя древностей. Здесь можно встретить все мало-мальски примечательное, что только ему «попадалось под руку» в ходе разбора завалов памяти. Тяжелые роды матери, крещение, беспокойное и болезненное младенчество, странные нарывы на теле и «белые плоские черви в животе», от которых он не мог избавиться до 24 лет, необычное лечение, вследствие которого кожа полностью сходила с его живота, трудности с учебой и суровые телесные наказания за нерадение, болезнь и смерть отца, начало самостоятельной жизни в 17 лет. Все это с трудом складывается в единый цельный образ детства.

Деловые записи Феликса Гутратера (1589–1648) по своей форме похожи на хозяйственные дневники и «домашние хроники» итальянских купцов и деловых людей. Это сухая регистрация всех фактов и событий, которые автор по тем или иным причинам считает важными, – как связанных с ним самим и его жизнью, так и с членами его семьи, и шире – его города. Названия главок, на которые разбито его сочинение, достаточно красноречиво говорят о том, какие именно темы и сюжеты запечатлелись в памяти автора: «Родители», «Отчим», «Семилетний», «Опекуны», «Корь», «Немецкая школа», потом «Наводнение», «Мои детские занятия», «Несчастный случай», «Тесная дружба», «Путешествия» и т. п. Гутратер извлекает из хранилища своей памяти отдельные биографические фрагменты бессистемно, бездумно, «как придется», он не рисует живых сцен детских проказ, не раскрывает внутренний мир себя-ребенка – и все же его рассказ в известном смысле примечателен: детство присутствует в нем как отдельный период жизни и сведения о нем занимают вполне почетное и значимое место.

* * *

Очевидно, что восприятие детства авторами XIV–XVII вв. в своей принципиальной основе и похоже, и одновременно не похоже на сегодняшнее. Причем несходства тут особенно выпукло видны и особенно интересны. В чем же именно, зададимся вопросом, они состоят? Прежде всего в том, что аксиоматичный для XX в. образ детства как уникального и неповторимого опыта индивида, во многом определяющего его дальнейшую судьбу, в наших сочинениях не так-то просто разглядеть. В лучшем случае в них содержится лишь намек на такое понимание. Именно поэтому ни ренессансный писатель XVI в., ни протестантский священник XVII в., рассказывая о себе, обычно не обходится без тех или иных биографических образцов. В понимании самого себя он еще остается традиционалистом, он еще слишком «авторитарен»,

хотя уже и не в средневековом смысле¹⁶⁶. И в этой еще не преодоленной спаянности с идеальным миром авторитетов заключается, пожалуй, главная особенность, отличающая его самосознание в целом и видение собственного детства в частности.

Только со второй половины XVIII в. создатели автобиографий начинают более настойчиво заявлять о своей личности как о явлении единственном и неповторимом. Среди них особенно отчетливо выступает фигура Жан-Жака Руссо, вдруг необычайно остро ощутившего собственную исключительность и объявившего о ней в своей «Исповеди». «Я один, – не без упоения сделанным открытием заявляет он. — ... Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною... *я не похож ни на кого на свете*» (курсив мой. – Ю. З.)¹⁶⁷. А вспоминая о своей детской дружбе с двоюродным братом Бернаром, Руссо не может удержаться от того, чтобы не подчеркнуть ее необыкновенность, которая, конечно, коренится в его неповторимой индивидуальности. Он говорит об этой дружбе как о примере «может быть, *единственном с тех пор, как существуют дети*»¹⁶⁸.

Подобное самовосприятие, очевидно, было теснейшим образом связано с интимизацией внутреннего мира индивида, рождением представлений о существовании в нем некоего скрытого ядра, его подлинного «Я»¹⁶⁹. Свое отличие от других, свою обособленность и свое одиночество человек Нового времени стал осознавать именно исходя из существования этого никому кроме него по-настоящему не известного единственного во всей Вселенной внутреннего «Я». И именно тогда и стало складываться представление о детстве как о важнейшем периоде, когда происходит «закладка фундамента» такого «Я». В XX в., в особенности после открытий Фрейда, это представление стало незыблемой истиной для психологов, педагогов, философов и просто заботливых родителей, стремящихся к тому, чтобы их ребенок вырос счастливым человеком.

Юрий Зарецкий

¹⁶⁶ Об обращенности сознания средневекового человека к идеальным жизненным моделям прошлого см.: *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 302.

¹⁶⁷ *Руссо Ж.-Ж.* Избранные сочинения. М., 1961. Т. 3. С. 9–10.

¹⁶⁸ *Он же.* Исповедь / пер. В. Устрялова. СПб., 1898. С. 9.

¹⁶⁹ См. об этом: *Кон И. С.* Открытие «Я». М., 1978. С. 183–224.

Франческо Петрарка (1304–1374)

Один из величайших деятелей итальянского Возрождения, поэт и писатель, родоначальник ренессансного гуманизма. Родился в г. Ареццо в семье флорентийского изгнанника, изучал право в Монпелье и Болонье, в 22 года принял монашеский постриг и поселился в Авиньоне при папском дворе, долгие годы находился на службе у кардинала Джованни Колонна, занимал ряд почетных церковных должностей. В 1330-х годах он путешествовал с различными миссиями по Северной Франции, Фландрии, Южной Германии, Италии, совершил плавание в Испанию и Англию. Исполнение служебных обязанностей не было для Петрарки особенно обременительным и оставляло достаточно времени для литературных занятий. Тем не менее, свой идеал «ученого отшельничества» он захотел воплотить, купив в 1377 г., дом в Воклюзе недалеко от Авиньона. Вопреки этому желанию, разные обстоятельства заставляли Петрарку часто покидать уединенное место, и в 1353 г. ему пришлось его оставить навсегда. В последние годы жизни Петрарка много путешествовал, жил в Милане, Венеции и умер при дворе правителя Падуи Франческо да Каррара за день до своего 70-летия.

Большую часть его творческого наследия составляют разнообразные латинские произведения (трактаты, диалоги, письма, исторические сочинения, поэмы, речи). 8 апреля 1841 г., возрождая римскую традицию, он был увенчан на Капитолии лавровым венком поэта за латинскую поэму «Африка», которую считал своим лучшим творением. Среди сочинений Петрарки на итальянском языке сегодня наиболее известны итальянские сонеты, посвященные его возлюбленной Лауре, традиционно считающейся реальным историческим персонажем (Лаурой де Нов, 1308–1348).

Ниже публикуются отрывки из двух эпистолярных сочинений Петрарки, в которых он рассказывает о своем детстве. Первое – его краткая автобиография, известная под названием «Письмо к потомкам» (время создания точно не установлено); второе – письмо, адресованное его другу, архиепископу Генуи, датировано 1367 г.¹⁷⁰

Письмо к потомкам

Коли ты услышишь что-нибудь обо мне – хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, – то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многообразны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле. Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, ни слишком высокого, ни низкого происхождения. Род мой (как сказал о себе кесарь Август) – древний¹⁷¹. И по природе моя душа не была лишена ни прямоты, ни скромности, разве что ее испортила заразительная привычка. Юность обманула меня, молодость увлекла, но старость меня исправила и опытом убедила в истинности того, что я читал уже задолго раньше, именно, что молодость и похоть – суета; вернее, этому научил меня Зиждитель всех возрастов и времен, который иногда допускает бедных смертных в их пустой гордыне сбиваться с пути, дабы, поняв,

¹⁷⁰ Фрагмент «Письма к потомкам» в переводе М. Гершензона приведен по изданию: *Петрарка Ф.* Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма. М., 1997. С. 675–679. Фрагмент письма «Гвидо Сетте, архиепископу генуэзскому, о том, как меняются времена» в переводе М. Томашевской приведен по изданию: *Петрарка Ф.* Лирика. М., 1980. С. 321–325.

¹⁷¹ Слова Октавиана Августа (63–14 гг. н. э.), приведенные Светонием в «Жизни двенадцати цезарей», в главе «Боже-ственный Август». См. рус. пер. М. Л. Гаспарова (М., 1991).

хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя. Мое тело было в юности не очень сильно, но чрезвычайно ловко, наружность не выдавалась красотой, но могла нравиться в цветущие годы; цвет лица был свеж, между белым и смуглым, глаза живые и зрение в течение долгого времени необыкновенно острое, но после моего шестидесятого года оно, против ожидания, настолько ослабло, что я был вынужден, хотя и с отвращением, прибегнуть к помощи очков. Тело мое, во всю жизнь совершенно здоровое, осилила старость и осадила обычной ратью недугов.

Я всегда глубоко презирал богатство, не потому, чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и заботам, его неразлучным спутникам. Не искал я богатством стяжать возможность роскошных трапез, но, питаясь скудной пищей и простыми яствами, жил веселее, чем все последователи Апиция с их изысканными обедами¹⁷². Так называемые пирушки (а в сущности, попойки, враждебные скромности и добрым нравам) всегда мне не нравились; тягостным и бесполезным казалось мне созывать для этой цели других, и не менее – самому принимать приглашения. Но вкушать трапезу вместе с друзьями было мне так приятно, что никакая вещь не могла доставить мне большего удовольствия, нежели их нечаянный приезд, и никогда без сотрапезника я не вкушал пищи с охотой. Более всего мне была ненавистна пышность, не только потому, что она дурна и противна смирению, но и потому, что она стеснительна и враждебна покою. От всякого рода соблазнов я всегда держался вдалеке не только потому, что они вредны сами по себе и не согласны со скромностью, но и потому, что враждебны жизни размеренной и покойной.

В юности¹⁷³ страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя¹⁷⁴. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом вскоре, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, так, как если бы никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства¹⁷⁵. Но перехожу к другим вещам. Я знал гордость только в других, но не в себе; как я ни был мал, ценил я себя всегда еще ниже. Мой гнев очень часто вредил мне самому, но никогда другим. Смело могу сказать – так как знаю, что говорю правду, – что, несмотря на крайнюю раздражительность моего нрава, я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяния. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Но такова печальная участь стареющих, что им часто приходится оплакивать смерть своих друзей. Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть. Однако от многих из их числа, очень любимых мною, я удалился; столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе. Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтити меня, а почему – не знаю: сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их, вследствие чего их высокое положение доставляло мне только многие удобства, но ни малейшей доуки. Я был одарен умом

¹⁷² Марк Гавий Апиций, знаменитый гурман времен императора Тиберия, правившего с 14 по 37 г. Проявил свое состояние, покончил с собой. Именем Апиция назывались различные блюда. Сохранилось произведение «О кулинарии» III–IV вв., приписываемое Апицию.

¹⁷³ Под «юностью» Петрарка подразумевал возраст между «детством» и «зрелостью», то есть от 17 до 30 лет.

¹⁷⁴ Лаура умерла в 1348 г.

¹⁷⁵ Биографы Петрарки считают, что он здесь несколько преувеличивает, поскольку еще в письмах 1351–1352 гг. Петрарка жаловался на невозможность избавиться от плотских вожделений. Свое желание избавиться от них он в «Письме к потомкам» перевел в статус действительности.

скорее ровным, чем пронизательным, способным на усвоение всякого благого и спасительного знания, но преимущественно склонным к нравственной философии и поэзии. К последней я с течением времени охладел, увлеченный священной наукою, в которой почувствовал теперь тайную сладость, раньше пренебреженную мною, и поэзия осталась для меня только средством украшения¹⁷⁶. С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что, если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках. Поэтому я с увлечением читал историков, хотя их разногласия немало смущали меня; в сомнительных случаях я руководствовался либо вероятностью фактов, либо авторитетом повествователя. Моя речь была, как утверждали некоторые, ясна и сильна; как мне казалось – слаба и темна. Да и в обыденной беседе с друзьями и знакомыми я и не заботился никогда о красноречии, и потому я искренне дивлюсь, что кесарь Август усвоил себе эту заботу¹⁷⁷. Но там, где, как мне казалось, самое дело, или место, или слушатель требовали иного, я делал некоторое усилие, чтобы преуспеть; пусть об этом судят те, пред кем я говорил. Важно хорошо прожить жизнь, а тому, как я говорил, я придавал мало значения; тщетна слава, приобретенная одним блеском слова.

Я родился от почтенных, небогатых, или, чтобы сказать правду, почти бедных родителей, флорентийцев родом, но изгнанных из отчизны, – в Ареццо, в изгнании, в год этой последней эры, начавшейся рождением Христа¹⁷⁸, 1304-й, на рассвете в понедельник 20 июля.

Вот как частью судьба, частью моя воля распределили мою жизнь донине. Первый год жизни, и то не весь, я провел в Ареццо, где природа вывела меня на свет, шесть следующих – в Анцизе, в усадьбе отца, в четырнадцати тысячах шагов от Флоренции. По возвращении моей матери из изгнания восьмой год я провел в Пизе, девятый и дальнейшие – в заальпийской Галлии, на левом берегу Роны; Авиньон – имя этому городу, где римский первосвященник держит и долго держал в позорном изгнании церковь Христову¹⁷⁹. Правда, немного лет назад Урбан V, казалось, вернул ее на ее законное место, но это дело, как известно, кончилось ничем, – и что мне особенно больно, – еще при жизни он точно раскаялся в этом добром деле. Проживи он немного дольше, он, без сомнения, услышал бы мои попреки, ибо я уже держал перо в руке, когда он внезапно оставил славное свое намерение вместе с жизнью. Несчастный! Как счастливо мог бы он умереть пред алтарем Петра и в собственном доме! Ибо одно из двух: или его преемники остались бы в Риме, и тогда ему принадлежал бы почин благого дела, или они ушли бы отсюда – тогда его заслуга была бы тем виднее, чем разительнее была бы их вина. Но эта жалоба слишком пространна и не к месту здесь. Итак, здесь, на берегу обуреваемой ветрами реки, провел я детство под присмотром моих родителей и затем всю юность под властью моей суетности. Впрочем, не без долгих отлучек, ибо за это время я полных четыре года прожил в Карпантра, небольшом и ближайшем с востока к Авиньону городке, и в этих двух городах я усвоил начатки грамматики, диалектики и риторики, сколько позволял мой возраст или, вернее, сколько обычно преподают в школах, – что, как ты понимаешь, дорогой читатель, немного. Оттуда переехал я для изучения законов в Монпелье, где провел другое четырехлетие, потом в Болонью, где в продолжение трех лет прослушал весь курс гражданского права¹⁸⁰. Многие думали, что, несмотря на свою молодость, я достиг бы в этом деле больших успехов,

¹⁷⁶ Особенное увлечение Петрарки библейскими и христианскими текстами падает на 1346–1347 гг.

¹⁷⁷ Уже на двенадцатом году жизни Август, согласно Светонию, произнес речь на похоронах своей бабушки. В дальнейшем он также уделял время совершенствованию в ораторском искусстве.

¹⁷⁸ Считалось, что эра Христа – последняя в истории человечества.

¹⁷⁹ Петрарка пробыл в Авиньоне с 1312 по 1316 г. Здесь и далее он упоминает разные коллизии, вызванные перемещениями резиденции римских пап из Рима в Авиньон и обратно.

¹⁸⁰ Петрарка пробыл в Болонье с 1320 по 1326 г., но из них учился, вероятно, лишь три, поскольку некоторое время Болонский университет был закрыт.

если бы продолжал начатое. Но я совершенно оставил эти занятия, лишь только освободился от опеки родителей, не потому, чтобы власть законов была мне не по душе – ибо их значение, несомненно, очень велико и они насыщены римской древностью, которой я восхищаюсь, – но потому, что их применение искажается бесчестностью людскою. Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог бы, да если бы и хотел, чистота моих намерений неизбежно была бы приписана незнанию.

Итак, двадцати двух лет я вернулся домой, то есть в авиньонское изгнание, где я жил с конца моего детства. Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, – почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести. Особенно был я взыскан славным и знатнейшим семейством Колонна, которое тогда часто посещало, скажу лучше – украшало своим присутствием, Римскую курию; они ласкали меня и оказывали мне честь, какой вряд ли и теперь, а тогда уж без сомнения, я не заслуживал. Знаменитый и несравненный Джакомо Колонна, в то время епископ Ломбезский, человек, равного которому я едва ли видел и едва ли увижу, увез меня в Гасконь, где у подошвы Пиренеев в очаровательном обществе хозяина и его приближенных я провел почти неземное лето, так что и донныне без вздоха не могу вспомнить о том времени. По возвращении оттуда я прожил многие годы у его брата, кардинала Джованни Колонна, не как у господина, а как у отца, даже более – как бы с нежно любимым братом, вернее, как бы с самим собою и в моем собственном доме. В это время обуяла меня юношеская страсть объехать Францию и Германию, и хотя я выставлял другие причины, чтобы оправдать свой отъезд в глазах моих покровителей, но истинной причиной было страстное желание видеть многое. В это путешествие я впервые увидал Париж, и мне было забавно исследовать, что верно и что ложно в ходячих рассказах об этом городе. <...>

Гвидо Сетте¹⁸¹, архиепископу генуэзскому, о том, как меняются времена

Уже предвижу, что мне напомнят слова Горация, когда, рассуждая о нравах стариков, говорит он, что и сварливы-то они, и нудны, и лишь те времена склонны восхвалять, когда сами были еще юны¹⁸². Все оно так, не скрою, и, хоть кое к чему из написанного мной можно отнести это суждение, в сем письме не стану я утверждать обратного. Но пусть окажется я брюзгой и певцом прошлого, все же не тщетными будут и жалобы мои на нынешние времена, и хвалы прежним. Нередко устами, привычными ко лжи, глаголет истина и, не давай ей веры говорящий, сама заставит перед собою склониться. Итак, не устаю твердить я, в надежде, что и ты ко мне присоединишься – твердить, скорбеть и рыдать, ежели приличествует сие мужу: отчего старость свою влачим мы в года более мрачные, нежели те, что провели детьми? Или, быть может, век людской подобен веку древесному – как дерево, постарев, выстоит любую непогоду, так человек, окрепнув, выдерживает такие мирские и житейские бури, коих в нежном возрасте никогда бы не вынес? Нас это может утешить, других же нет. Ведь великое множество людей, покуда старимся мы, переживает свою юность; и случается так, что одним выпадает безмятежная старость, иным же – бурная юность. Но, оставив других, возвращаюсь я к нам с тобою. Несомненно, что, с одной стороны, года закаляют нас, а с другой – делают чувствительнее, да к тому же – нетерпимее. Нет ничего нетерпимее старости: и хоть умеет она смирять свои порывы, но, усталая и пресытившаяся жизнью, глубже чувствует, нежели любой иной возраст. К этому мнению не книги меня привели, не чужие слова, но собственный опыт, хотя, право, не

¹⁸¹ Гвидо Сетте (1304–1367) стал архиепископом Генуи в 1358 г. В 1361 г. он основал бенедиктинский монастырь, где и умер. Петрарка был связан с ним тесной дружбой.

¹⁸² Гораций. О поэтическом искусстве [=Наука поэзии]. С. 173–174.

знаю, согласишься ли ты со мной. Впрочем, с тем, о чем разговор я повел, сиречь о всеобщем пути ко злу и праху, истина, что солнца яснее, заставит тебя согласиться.

Не без приятности, я полагаю, было бы и не без пользы припомнить кое-что из минувшего, так давай обратим наши взоры вспять, сколь возможно далее. Первый отрезок жизни провел ты в родном доме, я – в изгнании¹⁸³; но не следует большого смысла искать там, где едва теплится светоч разума и духа. На рубеже младенчества и детства переехали мы, волею судьбы почти одновременно, в Галлию заальпийскую, ту, что ныне зовется Провансом, недавно же именовалась провинцией Арелатенсе. И вскорости вступили на единую жизненную стезю, такую связанную дружбой, какую возраст наш тогдашний допускал и коя до самой смерти будет длиться. Здесь умолчу о твоей Генуе, что миновали мы в начале пути; сын ее, являешься ты ныне ее пастырем. <... > Целью детского нашего путешествия был город, что древние называли Авенио, а современники зовут Авиньоном¹⁸⁴. Но затем, потому как незадолго до того перенесен был туда папский престол, чтоб лишь через шестьдесят лет в прежнюю обитель возвратиться, и оказался Авиньон тесен, скуден домами и переполнен жителями, порешили старики наши женщин с детьми отправить в близлежащее место. И мы, мальцами, были посланы туда же, но с иною целью: учиться. Карпантра называется сие место, городок маленький, однако столица небольшой провинции. Запечатлелись ли в памяти твоей те четыре года? Что за безмятежность, что за очарование, дома покой, на людях свобода, мир и тишина в полях! Уверен, что и ты так считаешь. И поныне за те и за прочие дни мои возношу благодарность Создателю, даровавшему мне столь безмятежную пору, когда вдали от житейских бурь впивал я сладкое молоко отроческого учения, возрастая на нем для пищи более серьезной. Но ведь мы изменились, заметит кто-нибудь, вот и кажется оттого, что все кругом изменилось. Так у больного и глаза по-другому видят, и язык ощущает иначе, нежели у здорового. Да, изменились мы, не отрицаю: да и кто же, не то что из плоти, но из железа или камня, за срок столь долгий не изменился бы? Статуи из мрамора и бронзы рушатся от времени, и города, возведенные людьми, и крепости, венчающие холмы и даже скалы, что всего тверже, обрушиваются с гор, так чего же от человека ожидать – существа смертного, с хрупкими членами и нежною кожей?

Но так ли велики перемены, что и сознание и рассудок отнимают у человека, тогда как душа еще его не отлетела? Допускаю, что коли вернулось бы вспять тогдашнее время, то в чем-то оно показалось бы иным, нежели казалось тогда. Не скажу, что ничего не изменилось в нас с годами; ясно, что прошлое предстало бы нам другим, но разве не было оно все же много лучше и покойнее, чем настоящее? Или, быть может, если не различают глаза спиц в колесах тончайшего творения Мирмецида – колеснице, кою накрыть, говорят, могла крылышками муха, и если всю остроту зрения человеческого напрягши, невозможно пересчитать ножки и другие части Калликратова муравья, если не в состоянии глаза с легкостью читать знаменитую «Илиаду», написанную столь мелко, что, по словам Цицерона, заключалась она в скорлупе ореха, так до того, значит, слабы они, что ни городов, ни сел, ни нравов, ни обычаев, ни жилищ, ни храмов не видят? И ум человеческий столь ничтожен, что не может понять, как все и хиреет и изменяется? Какой безумец не заметит, как все к худшему клонится? Не доводилось ли нам позднее видеть этот город, до того с собою несхожим, что лишь человек, вовсе лишенный рассудка, может столь глубоких перемен не заметить. Ведь через несколько лет после того, как покинули мы его, превратился город сей в столицу королевства тяжб, а лучше сказать – в обиталище демонов, коим отнюдь не был прежде. Покинул его покой, покинули беспечность и тишина, заполнили споры и крики судейских. Что же нам предстоит, ведь и с переменой мест, и с течением времени должны были мы тоже измениться и, вне сомнения, изменились?

¹⁸³ В Арещо, где находился изгнанный из Флоренции отец Петрарки.

¹⁸⁴ Петрарке было 7 лет, когда семья переехала в 1312 г. в Авиньон. Туда в 1309 г. папой Климентом V была перенесена из Рима резиденция пап. В 1367–1370 гг. по инициативе папы Урбана V она вновь пребывала в Риме.

Жители едва узнают теперь свою родину, о чем многократные жалобы знакомцев наших свидетельствуют. Но все перемены эти – могут мне сказать – во имя правосудия свершились, а ведь оно без шума редко может обойтись. Но я сейчас не о причинах, а только лишь о самых переменах речь веду. И то, что город и весь край, прежде безопасным казавшийся, оружию недоступным и неподвластным Марсу, ибо велико было почтение к папскому престолу, под чьей защитой он находился, ныне войском разбойников опустошен и разграблен – все это тоже во имя правосудия? Ежели бы в детстве нашем предсказал кто-нибудь подобное будущее, разве не сочли бы безумным сего ненавистного пророка? Но все, однако, по порядку. Хоть мог бы я повести речь о старине, все же охотнее о том с тобою побеседую, что сами мы видали, дабы на помощь рассуждениям моим пришла твоя память.

Уже на пороге зрелости и опять вместе (и для чего провели мы порознь большую часть жизни?) отправились мы из Авиньона изучать право в Монпелье, город в ту пору процветавший, и прожили там еще четыре года. Был он тогда во власти короля Майорки, и лишь малая часть его принадлежала королю французскому, вскорости – сильный сосед всегда опасен – его целиком захватившему. А тогда какой был там мир да покой, сколько купцов, какие толпы школяров и какое множество учителей! Как мало там всего этого теперь! Как переменилась и жизнь общественная, и жизнь частная – о том ведомо и нам и горожанам, прежние и нынешние времена знававшим. Из Монпелье перебрались мы в Болонью, коей привольнее и милее, думаю я, на свете не сыщешь. Хорошо ли ты помнишь сборища студентов, усердие наше и величавость наставников: казалось, то воскресли древние законоведы! Ныне почти никого уж нет в живых, и на смену этим великим умам пришло весь город наводнившее невежество. Так пусть уж врагом будет оно, а не гостем, а уж коли гостем, так хоть не гражданином или, того хуже, владыкой: а ведь сдается мне, что все поспешили сложить оружие к его ногам. И так этот край был плодороден и изобилен, что по всему свету не иначе слыл, как «тучной Болоньей». Не скрою, вновь начала она оживать и тучнеть по мудрости и благочестию нынешнего папы, но еще недавно, кабы ты заглянул в самую сердцевину – ты бы ужаснулся ее худосочию.

Когда года три тому назад ездил я повидать назначенного управлять сей епархией кардинала де ла Роша, мужа отменнейшего, что и в бедах обык шутить, и после радостных и для гостя столь жалкого чрезмерно почетных объятий принялись мы беседовать, на мой вопрос о делах города вскричал он: «Дружище, прежде была Болонья, ныне же она – Мачерата!» – так шутя присвоил он ей название нищенского городка в Пичено.

Думаю, ты почувствовал уже, с какой сладостной горечью перебираю я в несчастье счастливые воспоминания. Ясный и неизгладимый след оставило в моей памяти, полагаю, впрочем, и твоей, время, что школяром провел я в Болонье. Между тем наступал возраст более пылкий, и на пороге юности отваживался я переступать границы дозволенного и привычного. Частенько разгуливал я вместе со сверстниками, и в иные праздничные дни случалось нам бродить так долго, что сумерки застигали нас среди полей и лишь глубокою ночью возвращались мы домой.

<... >

Димитрий Кидонис (ок. 1324 – ок. 1398)

Греческий политический деятель и ученый. Родился в Фессалониках в семье дипломата. Оставшись без отца в 17 лет, был вынужден взять на себя заботы о матери, брате и трех сестрах. К 17 годам он уже был достаточно хорошо образован. Много позднее он вспоминал: «Я был еще совсем ребенком, когда меня отдали учителю красноречия. Едва начав разбираться в вещах, я благодарил смелость, с которой родители оценили мои способности, и со всем рвением старался учиться так, что не сменил бы это на все блага мира, полагая, что это самое лучшее для свободного человека; я жил бы всегда затворником, посвятив себя занятиям, если бы обстоятельства не обратились против меня»¹⁸⁵.

Политические распри вынуждают Димитрия бежать из Фессалоник. Общась с просвещенным политиком Иоанном II Кантакузином, Кидонис не раз подчеркивал значимость ума, образованности, мудрости в решении всех важных жизненных проблем. В конце концов он примкнул к свите Иоанна VI Кантакузина, который стал в 1347 г. соимператором византийского повелителя Иоанна V Палеолога. Димитрия в его 23 года назначили первым министром. Все контакты с императором проходили через него. Кидонис пытался воплотить идеал просвещенной власти. Уйдя вместе с Кантакузином с политической арены в 1354 г., через 2 года Димитрий вновь призван ко двору. Впоследствии он стал учителем наследника престола, проявлявшего с малых лет склонность к занятиям науками. Для улучшения дипломатических контактов с Западом Димитрий перешел в 1365 г. в католичество. Однако договориться с папской курией о помощи против теснящих Византию турок не удалось, хотя в 1369 г. император Иоанн V Палеолог принял католичество. Кидонис занимал при дворе последовательно прозападную политику латинофила. К середине 1380-х годов Димитрий Кидонис отошел от дел.

На протяжении всей жизни Димитрий не оставлял ученых занятий. Из произведений Кидониса выделяются прежде всего богословско-философские трактаты, переводы латинских авторов, этические сочинения, речи, письма, риторические вступления к императорским документам, сочинения по математике и сборник сентенций. «Апология I», из которой мы приводим отрывок в данной книге, написана в 1363 г.¹⁸⁶.

Апология I

Я родился от добрых христиан, устроивших свою жизнь согласно вере. Они не позволили мне выучиться какой-нибудь из маленьких ремесленных специальностей, чтобы обеспечить мне необходимое в жизни, но доверили меня мужам ученым и мудрым, считая, очевидно, что от этого и моему разуму, и моему духу прибудет во имя моего будущего благополучия. У моих родителей были средства не только для детей и для друзей, но и для всех потребностей. Они надеялись, что, получив образование, я хорошо их [средства] использую. Закончив начальное обучение, я обратился к более совершенным наукам, к тому, в чем нуждаются и ум, и душа, поглощая более серьезные знания; и когда начинали перечислять сверстников, преуспевающих в науках, мое имя первым среди других приходило всем в голову. Но пока я, словно побег, благополучно набирая высоту, немного спустя обещал созреть прекрасным плодом мудрости, смерть моего отца остановила меня, и мысль моя о науках сменилась заботой о близких, ибо

¹⁸⁵ *Cammelli G. Demetrii Cydonii orationes tres, adhuc ineditae // Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 1922. Bd. 3. S. 283.*

¹⁸⁶ Фрагмент в переводе М. А. Поляковской приводится по изданию: *Поляковская М. А. «Апология I» Димитрия Кидониса как памятник византийской общественной мысли XIV века // Общественное сознание на Балканах в Средние века. Калинин, 1982. С. 26.*

я имел возраст, достаточный для выполнения этих обязанностей. И я был вынужден заменить матери и младшим братьям и сестрам отца. Это прервало мою научную стезю, хотя все предсказывали мне блестящий успех.

Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408)

Один из первых гуманистических педагогов. Родился в Будапеште, где его отец был медиком при дворе венгерского короля Людовика Анжуйского. Еще ребенком посланный отцом для получения образования в Италию, он находился там на попечении дяди Томмазо, монаха-францисканца, ставшего позже патриархом Градо и кардиналом. Конверсини учился сначала в школах Равенны и Болоньи, затем изучал право в Болонском университете и гуманистические науки в Падуе. Рано начал преподавать, был учителем в ряде городов Северо-Восточной Италии (в Тревизо, Конельяно, Беллуно, Удине, Венеции и др.), читал лекции во Флорентийском (1368–1369) и Болонском (1392) университетах. Был канцлером Рагузы (Дубровника, 1384–1387) и канцлером у падуанских правителей Каррара (1393–1404).

Среди сочинений Конверсини работы на морально-этические темы («О судьбе», «О тщете человеческой жизни»); вопросы индивидуальной морали обсуждаются в полубеллетристических диалогах «История Элизии», «Договор между подагрой и пауком». Ему принадлежат также исторические сочинения «Происхождение семьи Каррара» и «История Рагузы». Его работа «Драгматология о предпочтительном образе жизни» посвящена обсуждению преимуществ монархической или республиканской форм правления. «Счет жизни» (1400) является своеобразной автобиографией и как редкий для раннего гуманизма жанр представляет исключительный интерес.

Особых сочинений на темы воспитания и образования гуманист не оставил, но интересный материал на эту тему содержат помимо «Счета жизни» и «Драгматологии» также письма. Поскольку Конверсини сам преподавал и знал современную ему школу, его взгляды на методы обучения, понимание процесса обучения, взаимоотношений ученика и учителя представляют особую ценность. Конверсини оставил воспоминания о своем обучении в средневековой школе, что также интересно. Наконец, будучи в Падуе, он оказал влияние на учившихся там будущих гуманистов, которые в дальнейшем либо сами писали на темы образования (Верджерио), либо стали гуманистическими педагогами (Витторино да Фельтре, Гуарино да Верона).

Ниже публикуется фрагмент из «Счета жизни», где описывается обучение Конверсини в средневековой школе и где высказаны некоторые его мысли по поводу методов обучения. Сочинение, подробно описывающее главные события жизни автора, составлено в 1399–1400 гг. Оно разделено на 73 небольшие главы с относительно самостоятельными сюжетами, группирующимися вокруг нескольких тем: происхождение, годы детства (гл. IV–IX), первая женитьба, университет, работа учителем и нотариусом. Идея рассказа о себе навеяна Августинем и Петраркой, но само произведение весьма своеобразно. Это исповедальный рассказ о прожитых годах, насыщенный морализаторскими рассуждениями, примерами из Библии и античных авторов, воззваниями к Богу. Повествование автора обращено к самому себе (размышления о собственной жизни способствуют самоочищению), небу (покаяние пред Богом дает надежду на отпущение грехов), миру (свою жизнь Конверсини стремится превратить в назидательный пример для всех грешников и праведников)¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Перевод с латинского языка выполнен Н. В. Ревякиной по книге: *Giovanni Conversini da Ravenna. Rationarium vitae* / A cura di V. Nason. Firenze, 1986. P. 67–74. Вступительная статья и примечания Н. В. Ревякиной и Ю. П. Зарецкого.

Счет жизни

IV. Итак, мой отец, чтобы я не воспитывался с варварами (а мать моя умерла, когда я был ребенком), посылает меня из Венгрии от гуннов ребенком на воспитание в Италию к педагогу Михаилу Загабрия. Принимает [меня] муж весьма благочестивый и почитаемый всеми за нравы брат [отца] Томмазо (тогда провинциальный министр Болоньи ордена блаженного Франциска, затем кардинал) и отдает под покровительство и на воспитание Джакомо де Канали, богатейшему гражданину Феррары. Сначала мое местопребывание было там, потом он [Томмазо], заботясь [и в дальнейшем] о моем детстве, перемещает меня в Равенну к монахиням св. Павла¹⁸⁸. Там я, словно вышедший из лона их всех, воспитывался в огромной любви с превосходнейшим усердием. Поэтому никому не должно казаться удивительным, если я среди стольких святых дев стал мальчиком кротким и мягким, и таким, который не только не мог делать ничего свирепого, кровожадного, жестокого, но даже ожидать (воспитание формирует природу: если оно правильное – направляет, если дурное, то того, кого воспитывают, сбивает с пути). Итак, воспитанный их старанием, более чем материнским, я начал в Равенне учиться у Донато дель Казентино¹⁸⁹.

V. Затем ребенком я был отправлен в Болонью, где благородная вдова Джакома де Тавернула, воспитывавшая меня вместе со своими детьми, при содействии своего брата Грациано, отдала меня учиться. И я – что стало предзнаменованием моей последующей судьбы – стал воспитанником школы Филиппино да Луго [от *lugo* – оплакивать, скорбеть], школы жестокой и, я бы сказал, железной, ему затем сняли комнату у главного учителя грамматики Алессандро дель Казентино¹⁹⁰. О его расходах, а также брата и моих заботился Томмазо, поскольку мой отец поставлял ему из Венгрии всего вдоволь. Немного спустя отец умер, и я, бедненький, жил под покровительством и опекой Томмазо и не знал с тех пор другого отца.

Итак, терпя безумную жестокость Филиппино, я упрямой душой возненавидел ученье и всех учителей. «Драчливого Орбилия» упоминает Флакк¹⁹¹. Этот же был не просто драчливым, а палачом учеников. Нас у него было четверо; племянника Грациано он однажды так жестоко избил, что, испугавшись, что тот умрет, ушел из города. Хотя мы любили товарища по школе, тем не менее желали его смерти, чтобы Филиппино либо понес наказание, либо был вынужден навеки удалиться в изгнание. Но мы прогневили богов, ученик поправился и был определен, более счастливый [чем мы], благодаря заботам своих родственников, к кроткому наставнику; наш тиран возвращается к нам.

С содроганием вспоминает душа жестокие и подлые злодеяния, которые совершал надо мной и братом этот кровожадный. Для читателей достаточно будет описать одно как неизменный признак его свирепости. Мой крестьянин¹⁹² отдал Филиппино, для того чтобы учился вместе с нами, восьмилетнего мальчика, не знаю, какой Тезифоной¹⁹³ перенесенного к наукам от пашни. Молчу о том, как учитель бил и пинал малыша. Когда однажды тот не сумел рассказать стих псалма¹⁹⁴, Филиппино высек его так, что потекла кровь, и между тем как мальчик отча-

¹⁸⁸ Монахини св. Павла предположительно связаны с орденом еремитов св. Павла, возникшем в Венгрии в 1212 г. и утвержденном папой Климентом V в 1308 г.

¹⁸⁹ Донато дель Казентино – это Донато Альбанцани (до 1328 – после 1411), учитель риторики, друг Петрарки и Боккаччо.

¹⁹⁰ Структура средневековой школы напоминала структуру ремесленной мастерской, учитель часто использовал в работе помощников (как мастер подмастерьев); у Алессандро дель Казентино, видимо, имелось несколько таких помощников, одним из которых был учитель Филиппино.

¹⁹¹ Гораций Флакк. Послания. II, I, 70–71.

¹⁹² Мой крестьянин – у отца Джованни Конверсини были земельные владения в окрестностях Болоньи.

¹⁹³ Тезифона (Тисифона) – одна из эриний, богинь-мстительниц.

¹⁹⁴ Стих псалма – Псалтирь в средневековой школе использовалась на начальных этапах обучения, с ее помощью учились читать по-латыни; псалмы заучивались наизусть еще до того, как начинали читать, и смысл их был еще непонятен.

янно вопил, он его со связанными ногами, голого (так было всегда, ибо за любой ничтожный проступок он истязал нас розгой голыми, чтобы мы со всех сторон были открыты его ударам), подвесил до уровня воды в колодце, который находился и, думаю, еще находится, в школьном доме Порте Нове, когда войдешь во двор, немного подальше от входа. Хотя приближался праздник блаженного Мартина, он [Филиппино] упорно не желал отменить наказание вплоть до окончания завтрака; наконец, после того как мальчик был извлечен [из колодца], словно из преисподней, полуживой от ран и холода, бледный перед лицом близкой смерти, он уложил его в постель; с помощью сильно нагретых одежд, многократно меняя их, мы с трудом вернули его к жизни. Подумай, читатель, какое наказание мог применить к старшим тот, кто так свирепствовал против малыша!

VI. Заблуждаются те, кто считает, что при обучении детей грамоте желательно прибегать к жестокости. Педагоги добиваются большего умеренностью и милосердием, ибо от мягкого обращения и любой похвалы воспламеняется благородная душа и становится расположенной следовать туда, куда зовет рука ваятеля; действительно, как любовь больного к врачу очень способствует исцелению, так любимого учителя слушают с большим удовольствием, верят ему легче, и то, что он описывает, крепче запоминается. И напротив, как свидетельствует Квинтилиан¹⁹⁵, дети от излишне жестокого способа исправления угасают; когда учитель свирепствует, с трудом запоминается то, что он говорит. То, что вкуснее, лучше питает, по мнению Авиценны, так, клянусь, и то, что воспринимается памятью с радостью, сохраняется надежнее; и потому удерживается памятью крепче все, что вызывает удивление, а также то, что доставляет удовольствие, то, что любимо, приятно, либо, напротив, все, что связано с тяжким позором или чудовищным злодейством, поскольку и вещи этого рода на душу влияют сильнее.

Итак, пусть будет в учителе кротость и мягкость, пусть он [скорее] побуждает детей идти в школу, чем понуждает, и, подобно тому как правители городов, напрягая все свои силы, стремятся к тому, чтобы их любили, нежели чтобы боялись, не иначе и в школьном государстве пусть преподаватель заботится о любви учеников, а не об их страхе перед ним. Пусть подражают людям, укрощающим лошадей, которые сперва обращаются с жеребьями с помощью свиста, крика и ласки, воздерживаются от применения шпор, скорее надевают недоуздок, чем настоящую узду, побуждают в путь и учат выдерживать на себе вес человека больше хлопаньем кнута, чем ударами. И не без основания древние, как считается, представляли муз девами, но по той причине, что тому, кто учит, подобает соблюдать и чистоту нравов, и во всей жизни девственную мягкость, а также кротость, [соединенную] с неким чувством чести, ибо многознание без света нравственности предстанет как грубое и особенно достойное презрения. В самом деле, как тот, кто учится рисовать, делает набросок с модели, так мальчик формирует свою душу, подражая жизни учителя; поэтому стоит посмотреть на жизненное поведение и ученость наставника, из которых одно формирует нравы того, кто пришел получить образование, другое – ум, первое оставляет после себя добродетельного, второе – ученого. Совсем юным полезнее жизнь [учителя как образец], а уже крепким [сформировавшимся] людям в учителе требуется образованность. Ибо тот, кто лишен мягкости, рассудительности и, так сказать, некоторой «евтрапелии» жизни, что мы можем по праву объяснить как способность быть приятным в общении, не может наставлять слушателей только словами или, что более всего помогает, примером.

Кроме того, надо тщательно рассмотреть разнообразие характеров; действительно, одних учеников мы лучше взбадриваем соревнованием с товарищем, воодушевляем похвалами (словно лошадей звуком трубы); на других следует воздействовать лаской, на третьих – строгостью (но при этом умеренной), на некоторых отеческим порицанием. Ведь чем благороднее дух [человека], тем безутешнее он страдает от обиды. В большинстве случаев следует подражать

¹⁹⁵ Квинтилиан. Об обучении оратора. II. 27.

мудрости медиков, которые, если недуги не повинуются целительным средствам, прекращают лечение, а не теряют труд [без пользы].

Следует, кроме того, немало поразмыслив, установить меру в распределении изучаемого материала. Учащимся надо всегда давать [знания] на уровне [их] способности понимания. Как пища должна наполнять желудок до уровня сытости, чтобы началось пищеварение, так материалы для чтения надо распределять в границах умственных способностей учеников. Ясное и совсем не обременительное чтение легко усваивается, сложное и трудное насыщает, но не питает. Разум ведь легко воспринимает, с удовольствием исследует [полученные знания] и пока не теряет надежды сохранить узнанное, благодаря самой уверенности то, что услышано, усваивается сильнее.

Но тот мучитель, с одной стороны, омрачал [жизнь] страдальцев тяжким бременем ученья и, с другой стороны, делал их самым своим присутствием полумертвыми от страха. Поскольку я был на второй ступени обучения, он принуждал запоминать и рассказывать наизусть наиболее известные латинские стихи всех авторов, изучаемых ранее: Катона¹⁹⁶, кроме того, все, что читали из Проспера¹⁹⁷, Боэция¹⁹⁸, вследствие чего из-за тяжести занятий и в ожидании наказаний я, живя, умирал или жил, умирая.

VII. Итак, предпочитая все что угодно настоящей своей участи, я, отчаявшись душой, решил бежать. Но мешало присутствие стража (он ведь знал, что его страстно ненавидели, и по заслугам, и что у всех было страстное желание убежать). Я находился в школьной комнате, словно в ужасной тюрьме, в постоянном рабстве, под непрерывным наблюдением Аргуса¹⁹⁹ (за исключением лишь того времени, когда требовалось собраться всем, чтобы идти слушать Алессандро, общего учителя), ибо страх огромных мучений запрещал переступить порог [комнаты]. Что в конце концов [случилось]? В праздник блаженного Мартина, по причине торжеств которого, поистине вакханалий, было выпито вина больше обычного, он отпустил меня (что едва ли случалось в иное время) пойти поиграть в школы, где другие веселились. Я тотчас же, словно птица, вырвавшаяся из клетки, вылетаю и бегом к воротам, которые открывают дорогу на Флоренцию, выбегаю и не прерываю бега, пока не достигаю через три мили села св. Руфилла. Там меня вынудила остаться наступающая ночь. Так стал я «превосходным» путешественником: без надежды, без помощи, без путника, без знания мест и людей, без денег на дорогу. У меня была только одна монета [anconitanum], неизвестно как попавшая в ширинку [штанов]. Она стала платой за ужин и жилье.

В село прибыли торговцы из Тосканы; увидев, что я мальчик, и посчитав, что беглец из школы, что так и было в действительности, спрашивают, не хотел бы я отправиться с ними слугой. Я охотно соглашаюсь: от чего бы я отказался, лишь бы не быть у мучителя Филиппино? Итак, утром я отправляюсь с ними. Когда достигли Пьяноро, они, устроившись обедать, зовут и меня принять участие. Затем уходим, они верхом, я пешком, и я следую за ними через каменистую местность, холмы, в снег и дождь, тяжело дыша и скользя. Но так важно было уйти от взора свирепого наставника. Наконец, с приближением ночи мы нашли приют в Лояно, где я стараюсь торговцам услужить всеми способами. Они обращались со мной довольно мягко, то ли из жалости [ко мне] из-за моего возраста, то ли потому, что, заметив по некоторым признакам мой недеревенский нрав, считали, что я из знатного дома.

VIII. Между тем Филиппино сокрушается об ускользнувшей добыче, неистовствует, выжидает. Все напрасно. Наконец, он сообщает о происшедшем Томмазо, который сразу же велит моему дяде, хирургу Бонато, вместе со своим слугой Джакомо, дав им лошадей, пресле-

¹⁹⁶ Дистихи Катона – мудрые изречения в двустихиях, приписываемые Катону Старшему.

¹⁹⁷ Проспер – Проспер Аквитанский (V в.), его сочинение – поэтическое переложение высказываний блаженного Августина.

¹⁹⁸ Боэций – возможно, что-то из учебников Боэция, философа, поэта, ученого (ок. 480–525).

¹⁹⁹ Аргус (стоокий Аргус) – в древнегреческой мифологии существо, стерегущее, не зная сна, возлюбленную Зевса Ио.

довать беглеца. Когда они все разузнавали, стражи ворот св. Стефана сообщили, что накануне вечером вышел мальчик, и они, предположив, с учетом обстоятельств, что это я, продолжают преследование большими переходами [проезжая большие расстояния] и на рассвете прибывают в Лояно. Усевшись перед гостиницей у костра стражника, они громко спрашивают у хозяина [гостиницы], не прибыл ли сюда какой-нибудь мальчик. Я с дрожащим сердцем, догадываясь, что спрашивают обо мне, что и было на самом деле, потихоньку устремляюсь прочь, [оставив] постель и гостиницу, и, будучи невидим сам, [вижу и] узнаю в разговаривающих у костра о беглеце своих и, дрожа, убегаю оттуда как можно быстрее и прячусь в куче дров, [расположенной] между гостиницей и пещерой в скале. С рассветом все поднимаются, усердно разыскивают отсутствующего и удивляются, куда же я мог исчезнуть в столь глухих местах, особенно в темноте. Потом я едва слышу отдельные далекие крики; [слышу, что] преследование продолжают с помощью нескольких взятых собак. Все напрасно.

Однако то место, [где я был], расположено так, что с одной стороны находится низина долины, с другой стороны мешают [идти] высокие горы; надо идти тропинкой посередине, там страж, приставленный открывать закрытый проход, требует от проходящих дорожную пошлину. Почувствовав, что волнение [в груди] улеглось, возвращаюсь на дорогу и спешу [к ограде]. Страж изгороди: «Куда это ты? Ну, давай плати сбор!» Но, видимо, убежденный данными [ему] приметам, он хватает меня, в то время как я готов ему заплатить, поскольку [у меня] сохранилось что-то от тех денег, которыми я расплачивался с лавочником Пьяноро, после того как получил их от торговцев. «Как бы не так, беглец, – говорит он, – ускользнуть отсюда решительно не позволю». Он удерживает меня, кричащего и упирающегося, и дает звуком рога условленный сигнал. Сразу же приезжают дядя и слуга Томмазо, я плачу, отказываясь возвращаться и вообще сопротивляюсь, они меня унимают и успокаивают как ласками, так и обещаниями забрать у Филиппино и, наконец, посадив на лошадь, везут обратно.

IX. И вот я снова возвращаюсь к палачу, но участь моя изменилась: мы, ранее жившие и питавшиеся в школе, оставались теперь в доме дяди. Но всю свирепость, умеряемую присутствием домашних, на виду которых я вел себя немного смелее, он [Филиппино] проявлял в школе, где, словно приходя в свое царство, вознаграждал [себя за умеренность] еще большей яростью. Признаюсь, раз или два я намеревался отравить его ядом; если бы не старание домашних, которые, заметив это, приняли меры предосторожности, я бы отправил Орку²⁰⁰ достойную голову.

Кто мог бы объяснить, святой мой Боже, сколь переменчив, сколь тщетен, сколь опасен, сколь слеп и сколь из-за этого несчастен путь юности, чрезвычайно трудный для самопознания, по свидетельству Соломона²⁰¹. Ты знаешь, Господи, сердце мое и совесть мою, которую только ты очищаешь и даруешь ей размышление над собой, исправление и направление [на правый путь]. Ты знаешь, сколь стыдно [мне] за прошлое, сколь берет раскаяние, как [я] страдаю и плачу, что оскорбил Тебя, [как] недоволен самим собой, потому что Ты был мной не доволен. Сколь часто с пророком Твоим я восклицал с глубочайшим вздохом: «Грехов юности моей и неведения моего не воспоминай»²⁰². Был я мальчиком уже столь дурным, что мог до смерти возненавидеть человека и дерзал помышлять о том, что выходило за пределы ненависти.

Однако, поскольку извращенное мое намерение не осуществилось и поскольку я не в силах был выносить жестокости тирана, я снова убегаю в город Сан Джованни. Там поступаю на службу к торговцу благовониями. Но поскольку мои меня повсюду разыскивают, братья минориты²⁰³, которым Томмазо тоже поручил розыск – а был я им всем близко знаком, – узнают,

²⁰⁰ Орк – в римской мифологии подземный мир, а также божество смерти.

²⁰¹ Намек на Книгу Притчей Соломоновых.

²⁰² Пс. 24:7

²⁰³ Минориты – монахи францисканского ордена.

что я продаю специи у торговца, и после многих порицаний и многих уговоров они увлекают меня в монастырь. У них меня баловали, пока не возвратился посланец из Болоньи. Поскольку тому же Джакомо было велено меня забрать, я соглашаюсь уехать, только получив обещание, что ни при каких условиях не возвращусь к Филиппино.

Итак, при возвращении меня переводят от Филиппино к Бартоломео Теутонико. Он жил при банях в конце квартала Нозаделле у госпиталя, одновременно преподавал в школе; он не был столь жестоким, как Филиппино, но был равен ему в бесстыдстве и глупости. В самом деле, в окне комнаты, в которой он преподавал, выходявшем в портик, очень большом и с железной решеткой, он заключал, как в карцере, забывчивых и виновных в других проступках учеников; здесь на виду у всех он держал их всю долгую зимнюю ночь и часто также на жарком летнем солнце, и им предстояло терпеть насмешки прохожих; кроме того, собирая учеников обнаженными в группы по пять, иногда шесть человек, он, как бы играя [с нами], будучи и сам обнаженный, бил [нас] до изнеможения.

Так у двух кровожадных и безрассудных педагогов я, не скажу, что жил, но пребывал в жалком и бедственном положении, почти подобный мертвому, пока из-за нависшей над Болоньей войны с Миланом я не возвратился в Равенну, чтобы жить в удовольствии у монахинь²⁰⁴.

²⁰⁴ Джованни Конверсини был возвращен к тем же монахиням монастыря св. Павла в 1353 г.; война между Миланом и Болоньей разразилась позже, в 1355 г.

Иоганн Бутцбах (1477–1516 или 1526)

«Одепорикон» («*Nodoeporicon*» – «Путевые заметки» в переводе с несколько латинизированного греческого языка) является одним из наиболее интересных произведений Иоганна фон Бутцбаха – малоизвестной, но колоритной фигуры времен зарождения немецкого гуманизма, автора первой книги «О знаменитых художниках Германии». В жанровом отношении «Одепорикон» является утешительным письмом (*Trostbrief*), которое автор адресовал своему сводному брату Филиппу, желая уберечь последнего от ошибок молодости и преподать образец надлежащего отношения к жизни. Форма письма выдержана очень точно: прямая речь, личные обращения к адресату, цитирование других своих произведений в третьем лице. В то же время по многим риторическим характеристикам «Одепорикон» является произведением литературы не столько «утешительной», то есть приводящей определенные аргументы, сколько «развлекательной»: письмо просто повествует о каких-то жизненных событиях, желая не убедить читателя в чем-либо, но лишь разбудить его интерес и сочувствие. При этом по многим литературным параметрам «Одепорикон» является просто сказкой: это история маленького ребенка, которого родители сперва вверяют бездетной тетке, а потом и вовсе посылают учиться на чужбину. Сын соседей, школяр, которому доверили 11-летнего Бутцбаха, оказывается шалопаем и истязателем: герой повествования принуждается попрошайничать и воровать, в 12 лет подрабатывает домашним учителем, а в 13 уже оказывается в чужой стране – в Богемии. После долгих странствий повзрослевший Бутцбах вознаграждается за все тяготы и находит свою истинную родину – монастырь в Лаабахе, откуда и пишет письмо своему сводному брату. Ниже приводятся отрывки из самого раннего периода жизни Бутцбаха, относящегося еще ко времени, когда он жил дома, в Мильтенберге (под Майнцем) или у тетки²⁰⁵.

Одепорикон

Глава третья

После смерти моей блаженной памяти кормилицы меня снова отправили в дом моих родителей. Но они тоже заставили меня опять ходить в школу. Потому что я должен признать: по своей детской глупости после смерти тетки я немало утешался тем, что думал, будто бы теперь я свободен от посещения школы.

Но когда меня сразу же, как и раньше, против моей воли, заставили продолжать начатую учебу, я стал нередко прогуливать, прячась в лодке на берегу реки Майна; там, в укрытии, я ждал, когда ученики приходили из школы; тогда осторожно и с опаской я пробирался домой. А когда учитель, которого я боялся больше всего, спросил о причинах моего отсутствия, я был вынужден сказать, что остался дома по воле родителей и делал якобы то или другое. Но когда однажды в пятницу – мы называли ее *sexta feria*, то есть «шестой день недели» – меня снова спросили о причинах моего отсутствия, то из-за огромного страха перед наказанием я, не подумав, ответил, что переворачивал жаркое на очаге²⁰⁶; а когда я, чтобы оправдаться, добавил, наверное, еще какую-то необычную работу для этого дня, то должен был, наконец, принять наказание, которое заслужил уже давно. Потому что по неосторожности я не подумал о том,

²⁰⁵ Перевод С. А. Гаврильченко по изданию: *Butzbach J. Odeporicon*. Weinheim, 1991. Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

²⁰⁶ Пятница – постный день, и поэтому мальчик никак не имел права готовить мясо.

какой это был тогда день. Меня уличили во лжи; о том, какое наказание я за это получил, еще долго напоминали рубцы.

Тогда я стал немного умнее; я научился больше не прогуливать, по крайней мере пока чувствовал боль от наказания – раны на своих ягодицах. Но скоро я уже забыл прошлое наказание – когда однажды вечером снова пришел домой не из школы, а, как обычно, из лодки и не смог назвать родителям латинские слова, выученные в этот самый день. Они начали упрекать меня за прогулы и обвинять во лжи, потому что уличили меня в том, что несколько дней назад я перечислял те же самые слова. Так из-за сходства латинских слов и благодаря обвинению соучеников, которых они спрашивали, сомневаясь в ситуации, меня опровергли.

На следующее утро мать потащила меня в школу. Когда мы пришли туда, мать сказала помощнику учителя (потому что старшего учителя, которого считали более понятливым, тогда не было на месте): «Вот наш плохо воспитанный сынок, который так не любит ходить в школу. Вы должны примерно наказать его за прогулы».

Мне кажется, она сказала это, конечно, не понимая того, что говорит. *Locatus* – так мы его называли – схватил меня в припадке гнева, приказал раздеть и привязать к столбу. Жестоко и безжалостно – потому что был грубым малым – он приказал выпороть меня самыми жесткими розгами, сам деятельно участвуя в этом. Но моя мать, которая еще недалеко отошла от школы, услышала мой крик и душераздирающий вопль. Она повернула обратно и, стоя перед дверью, кричала ужасающим голосом, что этот живодер и палач должен прекратить порку. Но тот, словно глухой, не слышал этих протестов и вместо этого старался ударить еще сильнее, в то время как остальные должны были петь песню. И когда он, далеко не сразу, прекратил свирепствовать, моя мать с силой прорвалась в дверь. Но, увидев меня прикованным к столбу, беспомощным, подвергающимся ужасным ударам и обнаружив мое тело в потоках крови, она лишилась сознания и упала на пол; она чуть не умерла от беспамятства.

Когда ученики подняли ее с пола и она снова немного собралась с силами, она накинулась на учителя со страшными проклятиями, пообещав в конце концов, что я больше не переступлю порога этой школы и что она пожалуется в совет, так что учитель никогда больше не осмелится даже слегка поднять руку на кого-либо из бюргерских детей в этой школе. Так и случилось. Потому что вскоре, еще в тот же день, когда весть об этом достигла городского совета, учителя из школы уволили²⁰⁷. Так из эрфуртского бакалавра получился мильтенбергский полицейский, по-немецки «слуга города или полицейский городской». Ибо это было только справедливо, чтобы тот, кто не захотел умерить свою жестокость по отношению к детям, должен был проявлять ее по отношению к злодеям и бунтовщикам. И хотя я по справедливости должен был бы испытывать гнев по отношению к нему, я давно уже, когда был в родном городе и он почти-точно попросил о прощении, окончательно простил его в благочестивом воспоминании об избиении Господа нашего Иисуса Христа. <... >

²⁰⁷ Из этого следует сделать вывод, что имевший полномочия уволить учителя городской совет был и его нанимателем.

Фома (Томас) Платтер (1499–1582)

Швейцарский гуманист, ученый и писатель Фома Платтер (Старший) родился в бедной семье, студентом много путешествовал по Германии, потом жил в Цюрихе, где сблизился с Ульрихом Цвингли. После гибели Цвингли перебрался в Базель, где получил известность как преподаватель древних языков и ученый-гуманист. Он был знатоком нескольких европейских языков, а также латыни, древнегреческого и древнееврейского, одним из основателей издательского дома, публиковавшего классических авторов. Его сыновья Феликс и Фома Младший успешно занимались медициной и тоже были заметными фигурами своего времени. Автобиография Фомы Платтера – одно из самых ярких свидетельств о себе человека XVI в., привлекающее внимание широкого круга читателей и ученых начиная с Гёте. В основном она посвящена рассказу о его детстве, годах учебы и становлению в качестве ученого²⁰⁸.

Автобиография

Не один раз, милый мой сын Феликс, выражал ты желание, равно как и другие славные и ученые мужи, бывшие в своей юности моими учениками, чтобы я написал вам рассказ о своей жизни с самого детства. Вам ведь в самом деле приходилось слыживать от меня о великой нужде, преследовавшей меня от чрева матери, о многочисленных опасностях, в каких я бывал, сначала на службе в диких горах, а потом во время странствий по школам – о моих трудах, наконец, и о заботах, выпавших мне на долю, когда я, женившись, должен был снискивать пропитание для себя, жены и детей.

И ради души твоей полезно будет поразмыслить тебе о том, как Бог столько раз чудесно сохранял мне жизнь, и о том, какой благодарностью обязан ты, мое порождение, Господу на небе, так щедро тебя одарившему и не давшему тебе изведать нищеты. Поэтому я не откажусь исполнить твое желание и расскажу тебе, насколько позволяет мне память, обо всем – от кого я родился и как рос.

Не жди, впрочем, от меня, чтобы я мог тебе в точности сказать, в какое время что со мной приключалось. Когда мне пришло в голову пораздумать и порасспросить о времени своего рождения, то мне высчитали тогда 1499 год. Явился я на свет Божий в воскресенье на Масляной, как раз когда заблаговестили к обедне. Это я знаю потому, что мои родные всегда надеялись видеть меня священником, так как я явился на свет при церковном благовесте. И сестра моя, Кристина, что одна была при матери, когда та меня рожала, тоже мне про это поминала.

Отец мой звался Антон Платтер – из старого рода тех, что звались Платтерами. Имя это пошло от их дома на широком плато, то есть плоской скале, на очень высокой горе при деревне Гренхен, в округе и приходе Фисп (Фисп – большое село и округ в Валлисе). А мать моя звалась Анна-Мария Суммерматтер, из очень большого рода Суммерматтеров. Отец у нее дожил до 126 лет. За шесть лет до его смерти я сам с ним беседовал, и он мне говорил, что знает человек десять в приходе Фисп еще постарше себя. На сотом году он женился на тридцатилетней девушке и прижил с ней сына. Он оставил сыновей и дочерей; из них одни были уж с проседью, а другие и совсем седые еще раньше, чем он умер. Звали старика Гансом Суммерматтером.

²⁰⁸ Фрагмент ее публикуется по изданию: *Сперанский Н. В.* Очерки по истории народной школы в Западной Европе с приложением автобиографии Ф. Платтера. М., 1896. С. 331–359. Перевод сделан Н. В. Сперанским с немецкого издания: *Thomas Platters Selbstbiographie. Aus dem schweizerdeutschen des XVI. Jahrhunderts für die Gegenwart übertragen von J. K. Rudolf Heman.* Gütersloh, 1882. Примечания переводчика.

Дом, где я родился, недалеко от Гренхен; зовется он «an dem Graben»; там, Феликс, ты и сам бывал. После родов у матери сделалась грудница, так что она не могла меня кормить; да мне и совсем никогда не пришлось попробовать женского молока, как покойница матушка сама мне говорила. То было моего бедования начало. Итак, вскормлен я был на рожке, как у нас дают его детям, когда отнимают их от груди. Надо тебе сказать, что в нашей стороне детям часто не дают ничего есть до четырех или до пяти лет: они сосут одно молоко.

Отец у меня умер так рано, что я его не помню. В нашей стороне исстари повелось, что бабы почти все до одной умеют ткать и шить; так мужчины перед зимой идут из дому, чаще всего в Бернскую область, покупать шерсть. Ее потом бабы прядут и делают из нее домашнее сукно на кафтаны и штаны для мужиков. Вот и отец раз пошел в Тун, в Бернскую область, за шерстью; там к нему пристала чума, и он отдал Богу душу. Схоронили его в Штефисбурге (это деревня возле Туна).

Немного погодя мать моя снова вышла замуж: взяла она себе в мужа Гейнцмана “am Grund” (это – дом между Фиспом и Стальденом). Так все мы, дети, от нее и ушли; я и не знаю хорошенько, сколько нас всех было. Сестер я помню двух. Одна умерла в Энтлебухе, куда она вышла замуж; ее звали Елисавета. Другую звали Христина; она умерла еще с восемью членами своей семьи, во время чумы, в Стальдене у Бургена. Братьев я знал троих. Одного звали Симон, одного Иоганн и третьего Иодер. Симон и Иоганн не вернулись с войны, а Иодер умер в Обергофене на Тунском озере. Дело в том, что кулаки вконец разорили нашего отца: так почти всем братьям и сестрам и пришлось идти в услужение с самого раннего возраста. А так как я был самый маленький, то меня по очереди держали у себя тетки, отцовы сестры.

Первое, что я по-настоящему помню, это как я был у одной из них, Маргариты, и как она принесла меня раз в дом “in der Wilde” (он около Гренхен); там была еще одна из моих теток, и бабы с ней чем-то занимались. Та, что меня принесла, взяла валявшийся в комнате пучок соломы, положила меня на нем на стол и побежала потом к другим бабам. Другой раз вечером тетки мои, уложив меня спать, пошли на посиделки. А я встал и побежал по снегу, по самому берегу прудика, в чужую избу. Не найдя меня дома, тетки страсть как перепугались. Когда они меня разыскали, то я лежал в избе между двумя мужиками: они меня отогревали, а то я совсем закован в снег.

Когда я, несколько времени спустя, жил у той тетки, что была в «in der Wilde», вернулся с одной войны в Савойе мой брат и принес мне в гостинец деревянную лошадку. Я ее катал за веревочку перед дверьми и был совершенно уверен, что она сама ходит: оттого я теперь отлично понимаю, как дети могут часто считать свои куклы и другие игрушки живыми. Бывало, брат перешагнет через меня и говорит: «Ну, Фомушка, конец – теперь тебе больше не расти!» Это меня огорчало.

Когда мне было года три, приехал в нашу сторону кардинал Матвей Шиннер²⁰⁹ для ревизии и для миропомазания, как это водится у папистов; он завернул и к нам, в Гренхен. В это время там был один священник, по имени отец Антон Платтер. К нему меня и отвели, чтобы он был моим восприемником. Но когда кардинал (а может, он тогда был еще и просто епископ) после обеда пошел в церковь, чтобы помазывать детей миром, то родич мой Антон, не помню уж как, над чем-то позамешкался, и вышло, что я один побежал в церковь, чтобы меня помазали и, как водится, дали подарок. Кардинал, сидя в кресле, поджидал, когда к нему начнут подводить детей. Я помню, как я подбежал к нему, а он, не видя при мне восприемника, говорит: «Тебе чего, дитячко?» Я говорю: «Мне бы помазаться». Он сказал с усмешкой: «А как тебя звать?» Ответ: «Меня зовут отец Фома». Тогда он рассмеялся, пробормотал что-то, положил мне руку на голову, и потом дал мне легонько раз по щеке. Тем временем подошел дядя Антон

²⁰⁹ Кардинал М. Шиннер (ум. 1522), игравший видную роль в международной политике Европы конца XV и начала XVI в., сам был родом из мужиков Валлиса.

и стал извиняться, что дал мне убежать одному. Кардинал рассказал ему, как я ему отвечал, и прибавил: «Из этого мальчика наверное что-нибудь выйдет: скорее всего священник». И так как я к тому же явился на свет Божий при благовесте, то многие думали, что я непременно буду священником. Оттого-то меня потом, не долго раздумывая, и отдали в школу.

Когда мне исполнилось лет шесть, меня отдали в долину «zu den Eisten» у Стальдена. Там покойная сестра моей матушки была замужем. Мужа ее звали Фома «an Riedjin»; жил он в усадьбе по прозвищу «im Boden». У него на первый год дали мне пасти козлят около дома. Словно сейчас я помню, как мне приходилось там вязнуть в снегу, так что я еле-еле выкарабкивался: не раз сапожонки мои оставались в снегу, и я шел домой босиком, щелкая зубами от холода.

У этого мужика было еще штук 80 коз: их я пас на 7-м и на 8-м году. Я был тогда еще так мал, что когда, отпирая хлев, не успевал сейчас же отпрыгнуть, то козы меня опрокидывали и бежали по мне, наступая мне на голову, на уши и на спину. Я обыкновенно падал ничком. Когда я потом гнал своих коз по мосту за речку Фисп, то передние сейчас же забегали у меня в хлеба; не успевал я их оттуда выгнать, как задние кидались туда же. Тогда я принимался плакать и кричать. Я отлично знал, что вечером мне за это будет порка. Выручали меня другие пастухи; особенно один, Фома «im Leidenbach», уже большой парень, очень меня жалел и много мне помогал.

Загнав своих коз на высокие и дикие горы, мы, пастушата, усаживались обыкновенно вместе и вместе полдничали: у каждого из нас была за плечами пастушья плетушка с сыром и черным хлебом. Один раз, пополдничав, задумали мы играть в камешки. Для этого надо ровное местечко. Мы его и отыскиали на высокой скале. Один за другим принялись мы там кидать в цель. Когда черед дошел до парня, что стоял впереди меня, то я хотел посторониться, чтобы он, размахнувшись, не задел меня камнем по голове или по лицу, и полетел с края скалы. Пастухи все принялись кричать: «Господи Иисусе!», пока я не пропал у них с глаз. А я скатился немножко под скалу, так что им меня не было видно, и они были уверены, что я расшибся до смерти. Я скоро встал на ноги и, обогнув скалу, опять взобрался наверх. Они там плакали с горя, а потом стали плакать с радости. Недель через шесть у одного пастуха с того же места сорвалась коза: она расшиблась до смерти. Так сохранил меня Господь.

С полгода спустя погнал я раз своих коз на заре, раньше всех других пастухов – мне было туда ближе всех – через пастбище по прозвищу Виссегген. Там мои козы забрали вправо, на скалу, шириной не больше как в добрый шаг; а вниз она шла стеной на страшную глубину – сажень тысячу, не меньше. С этой скалы одна коза за другой стали карабкаться выше по неприступной крутизне; они сами еле цеплялись копытцами за кустики травы, что там росла. Когда они все взобрались наверх, то и мне волей-неволей пришлось отправляться за ними вслед. Но не успел я вскарабкаться и на шаг по траве, как увидел, что дальше лезть мне нельзя; нельзя было мне и спускаться, а прыгнуть назад я никак не смел: я боялся, что если я прыгну задом, то не удержусь на ногах и полечу со скалы в пропасть. Так я и остался там стоять, ожидая Божьей помощи: сам я себе ничем не мог помочь. Я только крепко вцепился обеими ручонками в кустик травы, а большим пальцем ноги уперся в другой кустик, и когда устал, то притягивался немножко вверх и менял ногу. В этой беде пуще всего наводили на меня жуть орлы, летавшие надо мною в воздухе: я боялся, как бы они меня не утащили; у нас, в Альпах, бывает, что орлы уносят маленьких ребят и ягнят. А тут еще ветер раздувал мою несчастную одежонку: на мне и штанов-то тогда не было. Так вот я и стоял, пока меня не приметил издали приятель мой Фома. Сначала он не мог распознать, что там такое, и видя, как раздувался по ветру мой кафтанишко, думал, что это птица. Но когда он меня признал, он так перепугался, что совсем побелел. Он закричал мне: «Фомушка, стой, не ворошись», взобрался на скалу, взял меня на руки и снес на такое место, откуда можно было взобраться наверх к козам. Несколько лет спустя, когда я один раз пришел домой на побывку с чужой стороны из школы, этот мой

товарищ, узнав про меня, пришел ко мне и помянул, как он спас меня тогда от смерти (хоть это была и правда, но я воздаю за это честь Богу): так он просил, чтобы я, когда буду священником, не забывал о нем и молился за него в церкви.

Служа у этого хозяина, я работал изо всех своих силенок, и он был мною очень доволен. Когда я потом раз шел по Валлису в Фисп, уже женатый, этот мужик говорил жене, что у него никогда не бывало лучше батрачка, хотя я был совсем еще малыш.

Из других сестер моего покойного отца одна была благочестива, то есть не замужем; ей отец особенно меня поручал, как младшего ребенка; звали ее Франси. Вот этой-то тетке разные люди стали толковать, что живу я на работе не по силам, где, того и гляди, сломаю себе голову. Тогда она пошла к моему хозяину и сказала, что не хочет меня больше у него оставлять. Тому это пришлось вовсе не по душе. Она свела меня назад в Гренхен, где я родился, и поместила к богатому мужику – старику Жану «im Boden». У него опять дали мне пасти коз. Там раз случилось, что мы с одной девочкой – она тоже пасла у отца своего коз – заигралась у канавы, по каким у нас отводят воду с гор на поля. Мы отделили себе маленькие участки и стали пускать на них воду по желобкам: у нас дети постоянно так играют. Тем временем козы наши убежали на горы, неизвестно куда. Тогда я скинул кафтанишко и, бросив его у канавы, побежал на гору по всем вершинкам, а девочка пошла домой без коз; я же, бедный батрачонка, и думать не смел о том, чтобы домой глаза показать, если козы не отыщутся. На самом верху увидал я молодую серну: две капли одна из моих коз. За ней я и прогонялся до самого заката. Глянул я вниз на деревню, а там уж избы все в темноте; я пустился вниз, но меня тут же захватила ночь. Я стал ползти по откосу от дерева к дереву (то были смолистые лиственницы), цепляясь за корни; а там немало корней выходило наружу; земля из-под них высыпалась – такая то была круча. Но когда стало совсем темно, и я заметил, что стало что-то уж очень круто, я порешил дальше не ползти: зацепившись одной рукой за корень, другою я стал выкапывать землю около дерева под корнями, и слышно мне было, как она сыпалась вниз. Потом я затискался под корни; только ноги торчали наружу. На мне была одна рубашонка; не было ни сапог, ни шляпки, а кафтанишко я оставил у канавы со страху, что потерял коз. Когда я так улегся под деревом, зачуяли меня вороны и подняли на дереве крик. Жуть меня взяла; думалось мне, нет ли тут медведя; я перекрестился и заснул. Так я проспал, пока утром солнышко не поднялось над горами. А когда я проснулся и увидал, где я, так, право, не знаю, случилось ли мне в жизни больше пугаться. Спустился я вечером еще сажени на две, я упал бы в бездонную пропасть. А тут опять беда: как отсюда выбраться? Пришлось снова ползти вверх, с корня на корень, по камест, наконец, не добрался я до такого места, откуда можно было бежать по горе в деревню. Когда уж я почти выбрался из лесу на поля, мне повстречалась девочка с моими козами: она их снова гнала пасти. Они, оказывается, как только настала ночь, сами прибежали домой. А хозяева мои, видя, что меня с ними нет, страсть перепугались: они подумали, что я расшибся до смерти. Они пошли в дом, где я родился (он стоит рядом с их), и стали спрашивать мою тетку и других людей, не знают ли они про меня, а то я не пришел с козами. Так тетка моя и старуха хозяйская жена всю ночь простояли на коленях, моля Бога, чтобы он меня сохранил, если я еще жив. <... > После того они не хотели больше пускать меня пасти коз: такого они тогда страха натерпелись.

Еще случилось мне раз у этого же хозяина упасть в большой котел, где грелось на огне молоко. Я там так обварился, что знаки остались на всю жизнь, как ты сам и другие могли видеть.

Тогда же я еще два раза чуть было не погиб. Раз сидели мы с другим пастушонком в лесу и болтали промеж себя по-ребячьи; между прочим толковали мы, что хорошо б нам было летать, тогда б мы полетели за горы, вниз, в немецкую сторону (так в Валлисе зовут Швейцарский Союз). Вдруг над нами зашумело, и громадная хищная птица стала на нас спускаться, словно собираясь утащить одного из нас, коли не обоих. Тут мы принялись кричать, отмахиваться

палками и креститься, пока птица не улетела. Тогда мы оба сказали: «Грех было толковать, что хорошо бы нам было летать: Бог нас создал, чтобы ходить, а не летать».

Другой раз я забрался в глубокий овраг за «стрелками», иначе говоря, за хрусталем: его там много бывало. Вдруг я вижу, с самого верху горы сорвался камень, величиной с печку; бежать было нельзя, и я бросился на землю ничком. Камень ударился в землю за несколько саженей выше меня и потом через меня перепрыгнул; такие камни, бывает, прыгают на два, на три человеческих роста.

Вот что было мне за сладкое житье, вот что были у меня за радости на горах с козами. А сколько я еще перезабыл! Знаю только, что ходил я летом по большей части босиком или носил деревянную обувь, что ноги у меня вечно были в синяках и в глубоких ссадинах, что не раз я жестоко расшибался. Жара, бывало, морила так, что случалось мочиться в пригоршню, да и пить, чтоб утолить жажду. Есть мне давали утром на заре ржаную похлебку (замешанную из ржаной муки); в горы давали на спину плетушку с сыром и черным хлебом, а на ночь топленую сыворотку; впрочем, этого всего давали порядочно. Летом спал я на сене, а зимой на соломенном мешке, где бывало немало клопов, да и вшей. Так-то живут у нас бедные пастушата, что служат у мужиков по усадьбам.

Так как мне теперь не хотели больше давать пасти коз, то я перешел к мужу другой моей тетки; это был скупой и сердитый мужик; у него мне дали стеречь коров. Надо тебе сказать, что в Валлисе почти нигде не держат общественных пастухов при коровах, а у кого нет *альна*, куда отправлять их на лето, тот держит своего пастушонка, чтобы пасти их на выгоне при усадьбе.

Недолго я у него побыл, как пришла к нам тетушка Франси и сказала, что хочет отдать меня к отцу Антону Платтеру, нашему родичу, учиться у него Писанию: так у нас говорят, отдавая ребенка в школу. А священник тогда жил уж не в Гренхене, а при церкви Св. Николая, в селе, что зовется Газен.

Когда Антон «an der Habtzucht» – так звали моего хозяина – услышал, что собирается делать тетка, то это пришлось ему не по душе. Он упер указательный палец правой руки в левую ладонь и сказал: «Парню так же ничему не выучиться, как мне не проткнуть ладони пальцем». Это было на моих глазах. А тетка отвечала: «Э, кто знает? Бог его не обидел, может, из него еще выйдет благочестивый священник». Итак, она свела меня к священнику; было мне тогда, думается мне, годов девять или девять с половиной.

Тут мне сразу пришлось круто: поп был нрава свирепого, а я неотесанный деревенский мальчишка. Он жестоко меня колотил и нередко за уши поднимал от земли, так что я визжал, как коза под ножом, и соседи уж ему кричали: «Да что ты, убить его что ли хочешь?»

У него я был недолго. В это время пришел домой один из моих двоюродных братьев, который ходил в школы в Ульме и в Мюнхене, в Баварии; он был из Суммерматтеров, моего старика-дедушки сына сын. Этого студента звали Павел Суммерматтер. Ему мои родные про меня сказали. Он обещал им взять меня с собой и отвести в Германию в школу. Когда я об этом услышал, я упал на колени и молил всемогущего Бога, чтобы он избавил меня от моего попа, а то он ничему меня не учил и только беспощадно бесперечь колотил. Всего-то я и выучился у него немножко петь *Salve*, чтобы ходить с другими учениками, что жили в деревне у того же попа, собирать ему яйца. Когда я там был, мы с ребятами задумали раз служить обедню, и меня послали в церковь за свечкой. Я, не задув ее, засунул себе в рукав и так обжегся, что знак и сейчас остался.

Когда Павел собрался опять уходить, он велел мне прийти к нему в Стальден. Около Стальдена есть усадьба, зовется она «zum Muhlbach». Там жил брат моей матери, Симон «zu der Summermatten». Он числился моим опекуном. Он дал мне золотой гульден. Я крепко зажал монету в кулак, да так и нес ее до Стальдена, все поглядывая по дороге, цела ли она у меня; там я отдал ее Павлу. Вот мы с ним и тронулись в путь.

По дороге мне приходилось собирать милостыню для себя, да давать из нее и Павлу. Мне, ради моей простоты и деревенского говора, подавали много.

Когда мы перевалили через Гримзель, пришли мы ночью на постоялый двор; там месяц играл на печных изразцах; а я никогда еще не видал изразцов и счел печь за большого теленка. На ней блестело только два изразца – так мне подумалось, что это у него глаза. Утром тоже в первый раз в жизни увидел я гусей: как они на меня зашипели, я подумал, что это дьявол, что он хочет меня сожрать, и пустился от них со всех ног, крича благим матом. В Люцерне увидел я первые черепичные крыши; крепко дивился я красным крышам. Потом пришли мы в Цюрих. Там Павел стал поджидать товарищей, чтобы вместе идти в Мейсен. Тем временем я ходил по городу за подаванием и почти совсем прокармливал Павла: там всем нравилось, что я говорю поваллиски, и мне по всем гостиницам подавали очень охотно.

Был тогда в Цюрихе один наш земляк, из Валлиса, из Лейка. Это был продувной малый; звали его Карле; думали про него, что он знается с дьяволом, потому – он всегда все знал, где бы что ни случилось, был известен кардиналу и т. п. Так вот этот Карле пришел раз ко мне – а мы стояли с ним в одном доме – и сказал мне: «Хочешь, я вытяну тебя раз по голой спине и дам тебе за это цюрихский грош». Я дал себя уговорить; тогда он меня схватил, опрокинул через стул и отхлестал страсть как больно. Когда я успел немного прийти в себя после порки, он стал просить у меня этот грош назад взаймы: а то к нему придет вечером ужинать одна женщина, и ему не хватит расплатиться за ужин. Я отдал ему грош: только я его и видел.

Подождав попутчиков недель восемь или девять, тронулись мы с ними в Мейсен; для меня с непривычки это был дальний путь; а к тому ж по дороге приходилось еще добывать пропитание. Шло нас душ восемь или девять, трое маленьких стрелков, остальные большие вакханты, как их там называют; из стрелков я был самый маленький. Когда я за ними не поспевал, то *братан* мой Павел подгонял меня лозой или палкой по голым ногам: на мне не было штанов, а одни худые опорки.

Где ж мне теперь знать все, что с нами приключилось по дороге? Ну, а кое-что мне все-таки помнится. Вот например. Толковали раз по дороге наши вакханты о всякой всячине и между прочим о том, как это в Мейсене и в Силезии повелось, что школьникам можно там воровать гусей, уток и всякую другую снедь, и ничего им за это не достается, лишь бы удалось удрать от хозяина, чье добро. Были мы раз недалеко от одного села, и паслось там стадо гусей, а пастуха при них не было (там у каждой деревни есть особый гусиный пастух): он ушел довольно далеко к тому, что пас коров. Я спросил тут моих товарищей-стрелков: «А что, скоро придем мы в Мейсен, где можно мне будет бить гусей?» Они сказали: «Да мы уж пришли». Тогда я подобрал камень, запустил его и попал одному гусю по лапе. Остальные улетели, а хромой не мог подняться. Я взял другой камень и угодил ему прямо в голову, так что он тут и растянулся. (Надо тебе сказать, что, ходя за козами, я отлично выучился камнями кидать: из ровесников-пастухов ни одному до меня не дойти было. Я научился там тоже трубить в пастуший рог и прыгать с альпийской палкой: то все были наши пастушьи искусства.) Тогда я пустился к гусю, схватил его за шею, цап его под кафтан и пошел с ним по улице через деревню. За нами следом прибежал пастух и поднял крик: «Парень украл у меня гуся». Мы со стрелками пустились бежать, а гусиный хвост торчал у меня из-под кафтанишка. Мужики выскочили с топорами, какими можно кидаться, и погнались за нами. Увидав, что мне не удрать от них с гусем, я его кинул. За деревней я соскочил с дороги – и в кусты. А два моих товарища бежали вдоль по дороге, и мужики их нагнали. Тогда они упали на колени и просили пощады, говоря, что они ничего ихнего не трогали; а мужики и сами увидели, что это не они бросили гуся, и, подобрав гуся, пошли домой. А я как увидел, что они догнали товарищей, совсем затужил и сам себе сказал: «Боже мой, что ж это такое? Я нынче, должно быть, забыл перекреститься». Меня дома выучили, что надо креститься каждое утро. Вернувшись в деревню, мужики нашли наших вакхантов в шинке (они еще раньше прошли в шинок, а мы шли сзади) и стали им

говорить, что надо заплатить за гуся, что они помирятся на двух баценах: только не знаю уж я, заплатили наши им или нет. Догнав нас, вакханты много смеялись и спрашивали, как это вышло. Я им сказал, что от них же наслышался, будто в этой стороне так это водится. Они мне сказали, что еще рано.

Другой раз повстречались мы с разбойником в одном лесу, мили полторы не доходя Нюрнберга; тогда мы шли всей кучей. Он сначала предлагал нашим вакхантам сесть с ним играть, чтобы задержать нас, пока подспеют товарищи. А с нами был удалец-парень, Антон Шальбеттер, из Фиспского округа в Валлисе; он один выходил на четверых и на пятерых, как тому были случаи в Наумбурге, в Мюнхене, да не раз и в других местах. Он велел разбойнику проваливать подобру-поздорову. Тот и убрался. А время было позднее, и мы к ночи могли поспеть только в ближайшую деревушку: там было две корчмы, да еще четыре-пять избенок. Вошли мы в одну корчму, а наш разбойник уж там, и с ним еще молодцы, конечно, его товарищи. Мы не захотели там оставаться и пошли в другую корчму. Следом за нами и они туда заявились. После ужина всем в доме было не до нас, стрелков, так что нам совсем забыли дать поесть: за стол нас никогда не пускали. Не дали нам и кроватей, и пришлось нам отправиться в стойло. А когда наших большаков повели на покой, Антон сказал хозяину: «Хозяин, сдается мне, что у тебя неладные гости, да что и сам ты немного их лучше. Так вот что я скажу тебе, хозяин: уложи ты нас так, чтобы нас никто не тронул, не то мы тебе такое сотворим, что ты сам себе в доме места не найдешь». А тут мошенники стали приставать к нашим, чтобы те сели играть с ними в шашки. Те не захотели и ушли спать. Только ночью, когда мы, парнишки, на тощий желудок лежали у себя в стойле, к дверям спальни явились какие-то люди – может, с ними был и сам хозяин – и хотели их отпереть. А Антон изнутри закрепил замок винтом, придвинул к двери кровать, засветил огонь (у него с собой всегда было огниво и восковая свечка) и сейчас же разбудил всех товарищей. Когда мошенники это услышали, они убрался. А утром наши не нашли уж ни хозяина, ни работника. Так это они нам рассказали. Ну, и мы были очень рады, что нам в стойле ничего не приключилось. Отойдя отсюда с милую, мы завернули в одну избу, а хозяева, услышав, где мы ночь провели, диву дались, как это нас всех не перерезали. Это, сказали они нам, самая разбойничья деревушка.

Перед Наумбургом, так может за четверть мили, наши вакханты снова отстали от нас в одной деревне: собираясь обедать, они нас всегда отправляли вперед. Нас тогда было пятеро. И вот на поле к нам подъезжает восемь верховых с натянутыми самострелами, окружают нас, требуют с нас денег и направляют на нас стрелы; тогда еще у верховых не бывало пищалей. Один из них сказал: «Подавайте деньги!» Один из наших, уж порядочный парнишка, ответил: «Нет у нас денег; мы бедные школьники». Тот снова: «Деньги подавайте», а наш ему снова: «Нет у нас денег, и не дадим мы вам денег, и не с чего нам их давать вам». Тогда рейтер выхватил саблю и ударил ей малого, так что она просвистела у него мимо уха и рассекла веревки на котомке. Звали этого нашего товарища Иван «von Schalen» из Фиспа, из самого села. Они ускакали потом в лес, а мы пошли к Наумбургу. Скоро нас догнали вакханты, но они с ними не повстречались. И еще не раз приходилось нам набираться страха от разбойников и от рейтеров: так было в Тюрингенском лесу, во Франконии, в Польше и т. д.

В Наумбурге пробыли мы несколько недель. Кто из стрелков умел петь, тот ходил в город петь, а я ходил побираться; в школу же мы глаз не казали. Этому другие школьники не хотели терпеть и грозились стащить нас в школу силком. И ректор велел сказать нашим вакхантам, чтобы они являлись в школу, не то их силой туда приведут. А наш Антон велел ему отвечать, что пусть, мол, сунется. В городе были еще швейцарцы, и они нам дали знать, когда за нами придут, чтобы нас не захватили врасплох. В ожидании гостей мы, стрелки, натащили на крышу камней, а Антон с другими заняли ворота. Ректор явился с целой вереницей своих стрелков и вакхантов. Но мы, стрелки, так принялись их угощать камнями, что им пришлось убраться. Немного погодя мы услышали, что они подали на нас жалобу начальству. А у нас был сосед; он

выдавал свою дочь замуж и припас целый загон откормленных гусей. Вот мы стащили у него ночью трех гусей и удрали в другую часть города; это было предместье, но у самой городской стены, как и то, где мы раньше были. Туда пришли к нам швейцарцы, выпили с нами, и потом наша бурса тронулась в Галле, в Саксонии, и стала там ходить в школу у Св. Ульриха.

Но так как наши вакханты очень уж нас обижали, то несколько из нас решили от них убежать, сговорились с Павлом, двоюродным моим братом, и пошли мы все в Дрезден. Там, однако, не было почти ни одной порядочной школы, а дома кишмя кишели вшами, так что мы по ночам слышали, как они под нами возились в соломе.

Поднялись мы оттуда и пошли в Бреславль. По дороге нам пришлось наголодаться: по целым дням не бывало у нас во рту ничего, кроме сырого лука с солью, а то мы кормились печеными желудями, да лесными яблоками и грушами. Не одну ночь пришлось нам спать под открытым небом: нас нигде не хотели пускать на ночлег, даром что мы просились как нельзя ласковой; случалось, еще нас травили собаками.

Зато когда мы пришли в Бреславль в Силезии, так там всего было столько, да так дешево, что бедные школьники объедались и нередко оттого сильно болели. Там мы сначала стали ходить в школу при соборе «Святого Креста». Но когда мы прослышали, что в Елисаветинском приходе есть еще швейцарцы, так мы перешли туда. Там было двое из Бремгартена, двое из Меллингена и другие еще, а также немало швабов. Швабы и швейцарцы жили там душа в душу, считали себя земляками и крепко друг за друга стояли.

В городе Бреславле семь приходов, и в каждом своя школа. Школьникам там не полагалось ходить петь в чужие приходы; а то тамошние поднимали крик: «Ad idem! ad idem!» – на него сбегались отовсюду стрелки, и начиналась жестокая драка. Там, говорят, раз собралось несколько тысяч вакхантов и стрелков, и все они жили милостыней. Говорят тоже, что иные вакханты жилали там по двадцати, по тридцати лет и дольше. Они держали стрелков, и те им *презентовали*, т. е. есть приносили. Мне случалось там за один вечер приносить своим вакхантам по пяти и по шести мешков в школу, где они тогда жили. А мне подавали очень охотно за то, что я был маленький и швейцарец: там тогда очень любили швейцарцев. <... >

Однажды повстречал я на рынке двух молодых господ; потом я узнал, что один был из Бензенауэров, а другой из Фугтеров²¹⁰. Они там прогуливались. Я, как это водится у бедных школьников, подошел к ним за милостыней. Фугтер спросил меня: «Ты откуда будешь?» Услышав, что я швейцарец, он потолковал с Бензенауэром и потом сказал мне: «Если ты в самом деле швейцарец, так я, коли хочешь, возьму тебя в дом как сына. Мы это закрепим здесь в Бреславле перед городской думой; только и ты мне обещаешься оставаться при мне всю свою жизнь, где бы я ни был, и жить у меня в послушании». Я ответил: «Меня препоручили одному земляку; я его об этом спрошу». Но когда я спросил об этом брата Павла, он мне сказал: «Я привел тебя сюда с родины и должен опять тебя сдать твоим с рук на руки. Как они тебе скажут, так ты потом и делай». Так мне и пришлось отказать Фугтеру. Но я часто ходил к его дому, и никогда меня не отпускали с пустыми руками.

В Бреславле прожили мы порядочно времени. Там за одну зиму я был три раза болен так, что меня приходилось отправлять в больницу. Для школьников там есть особая больница и свой доктор. Городской совет дает там на каждого больного по 16 геллеров в неделю. На эти деньги больных содержат хорошо: за ними хороший уход и кровати хорошие, только уж очень там крупные вши – как спелое конопляное семя. Оттого я не любил на кровати спать, а укладывался вместе с другими в комнате на полу. И нельзя себе представить, сколько на школьниках и на вакхантах, да зачастую и на простом народе, водилось вшей. Мне стоило запустить руку за пазуху, чтоб вытащить оттуда, если угодно, хоть трех сразу. Бывало, я частенько, особенно летом, хаживал на реку Одер, что там протекает, стирать свою рубашку. Я ее потом раз-

²¹⁰ Фугтеры – немецкие Ротшильды конца XV и начала XVI в.

вешивал сушиться на ветках и тем временем чистил от вшей свой кафтан. Набрав их целую кучу, я рыл ямку, клал их туда и, насыпав могилку, ставил на ней крест.

Зимой стрелки спят там в школе на полу, а вакханты в спаленках: их у Св. Елисаветы несколько сот; а летом, когда жарко, мы ложились на кладбище. Мы подбирали траву, что летом, по субботам, разбрасывают в господских улицах перед домами, сносили ее на кладбище в свой уголок и лежали там, как поросята на подстилке. А если начинался дождик, то мы почти всю ночь пели с помощником кантора *Responsoria* и разные другие вещи.

Иногда летом после ужина отправлялись мы по пивным собирать подавание пивом. Там подвыпившие польские мужики подчас нас так накачивали, что мне бы не добраться до школы, будь я от нее хоть всего только за несколько сажень. Итого: пропитания там было довольно, но учились мы немного.

В Елисаветинской школе иногда в одном классе читало зараз девять бакалавров. Но греческий язык там никогда еще не преподавался. Не было там еще ни у кого и печатных книг; только у наставника был печатный Теренций. Читали там так: сначала полагалось *произносить*, потом *разделять* (по словам), потом *располагать* (по предложениям) и только потом *объяснять*. Оттого вакхантам приходилось таскать с собой из школы в школу всякую писанную бумагу ворохами.

Оттуда восьмеро нас тронулось снова в Дрезден, и снова пришлось нам терпеть на пути жестокий голод. Тут мы однажды решили разделиться: одни должны были постараться промыслить гусей, другие – репы и луку, одному поручили раздобыть горшок, а нам, малышам, велели идти в город Неймарк, что был недалеко оттуда, при дороге, и промыслить там хлеба и соли; а к вечеру все мы должны были собраться перед городом, расположиться перед ним на стоянку, и там варить, что удастся промыслить. Там на ружейный выстрел от города был родник; у него мы и расположились на ночлег. Когда из города заметили наш костер, то по нас выстрелили, только никого не задели. Тогда мы перебрались за выгон, в лесок, к ручейку. Тут закипела работа: кто из больших рубил кусты и заплетал шалаш, кто щипал гусей – их у нас очутилась пара, – кто клал в горшок репу, отправляя туда же гусиные головки, лапки и потроха, кто строгал из дерева два вертела. Потом мы принялись своих гусей жарить и, чуть где мясо подрумянивалось, мы его обрезали и ели; отдали честь мы и репе. Ночью услышали мы, как что-то шлепает: а там была сажалка, откуда с вечера спустили воду, и рыба билась в тине. Мы набрали рыбы, сколько можно было унести в рубахе на палке, и пошли оттуда в деревню. Там мы часть рыбы отдали одному мужику, а он нам за это сварил остальную в пиве.

Когда мы опять пришли в Дрезден, то раз ректор и наши вакханты послали меня с другими парнишками раздобыть им гусей. Мы сговорились с товарищами, что я буду гусей бить, а они подхватывать и уносить. Повстречали мы стадо гусей; они, завидев нас, полетели. У меня с собой была дубинка; я запустил ее им вдогонку, попал по одному и сшиб его. Но мои товарищи, завидев пастуха, трусили и не побежали за гусем, даром что они могли смело поспеть вперед пастуха. Тогда другие гуси спустились, обступили подбитого и принялись гоготать, словно с ним разговаривали: наконец тот встал и пошел за другими. Я крепко сердчал на товарищей за то, что они не сдержали слова. Но потом они держались смелее, и мы принесли домой двух гусей. Вакханты и ректор зажарили их себе на прощальный обед, и мы тронулись оттуда в Нюрнберг, а оттуда дальше в Мюнхен.

По пути, недалеко от Дрездена, случилось мне пойти в одну деревушку за милостыней. Пришел я к одной избе, а хозяин меня спрашивает, откуда я. Услыхав, что я швейцарец, он спросил, нет ли со мной еще товарищей. Я сказал: «Товарищи мои ждут меня за околицей». Он говорит: «Поди, кликни их». Он выставил нам хороший обед и пива вдосталь. Когда мы с хозяином хорошенько подкрепились, он и говорит своей матери – а она тут же в комнате лежала на кровати: «Матушка, я не раз от тебя слыхал, что тебе хотелось бы перед смертью повидать хоть одного швейцарца; вот тебе их и не один; я зазвал их тебе в угоду». Тогда старуха

поднялась на кровати, сказала сыну спасибо за гостей, а нам говорит: «Я столько слыхала хорошего про швейцарцев, что мне крепко хотелось повидать хоть одного; мне кажется, я теперь умру спокойнее; так гуляйте же себе на здоровье». С этими словами она опять улеглась. Мы сказали спасибо хозяину и тронулись дальше.

Когда мы пришли к Мюнхену, то было уж очень поздно, так что нельзя было идти в город, и нам пришлось заночевать в убежище для прокаженных. Когда мы утром пришли к воротам, нас не хотели пускать, если мы не укажем за себя поручителя в городе. А *брат мой* Павел бывал уж в Мюнхене раньше. Ему позволили сходить за тем, у кого он тогда стоял. Тот пришел, поручился за нас, и нас пустили.

Мы с Павлом поселились там у одного мыловара: звали его Ганс Шрель. Был он *magister Viennensis*, но не лежала у него душа к поповскому делу, и он женился на красавице-девушке. Много лет спустя он приезжал с женой сюда, в Базель, и здесь тоже занимался своим промыслом. Его немало еще народа здесь помнит. Тут я не столько в школу ходил, сколько помогал хозяину мыло варить: мы с ним ездили тоже по деревням золу покупать. А Павел стал ходить в школу в приходе «Божией Матери». И я туда захаживал, но редко, только за тем, чтоб мне можно было петь на улицах и моему вакханту презентовать. Хозяйка моя была ко мне очень ласкова; а у ней была старая, черная, слепая собака, совсем уж без зубов; я ее кормил, спать укладывал и прогуливал по двору. Хозяйка мне все говорила: «Фомушка! ты уж около нее постарайся, я тебя за это не забуду».

Там мы прожили несколько времени, но тут Павел стал уж очень волочиться за горничной, и хозяин не хотел этого долгие терпеть. Тогда Павел решил, что нам надо сходить домой на побывку, а то мы уж пять лет дома не были.

Итак, мы тронулись к себе в Валлис. Там мои родные почти не могли больше меня понимать и говорили: «У нашего Фомы стала такая глубокая речь, что его почти никто не может разуть». А я просто был мал, и потому кое-что перенимал из каждого наречия, какие мне в моих скитаниях приходилось слышать. За это время матушка еще раз вышла замуж: ее Гейнцман «*am Grund*» помер, и как прошел с того положенный срок, она вышла за Фому «*an Garsteren*»; оттого-то мне у нее и не приходилось долго жить. Я больше ходил по теткам и чаще всего был у тетушки Франси, да еще у двоюродного брата, Симона Суммерматтера.

Недолго мы прожили дома и пошли опять в Ульм. На этот раз Павел прихватил с собой еще парнишку, Гильдебранда Кальберматтера, сына одного из попов; был он совсем еще маленький. Ему подарили на дорогу, как это у нас водится, сукна на кафтан.

Когда мы пришли в Ульм, Павел велел мне ходить с этим сукном по городу и выпрашивать денег на шитье. Я набрал тогда много денег: ловко я приспособился христарadniчать и подделываться. Оно и немудрено: вакханты только на этом меня и держали, а в школу совсем не водили и не выучили даже читать. И здесь я редко ходил в школу, а все время бродил по улицам с сукном, терпя жестокий голод. Надо тебе сказать, что все, что я добывал, я относил вакхантам и не посмел бы без их ведома съесть ни крошки: так я боялся побоев. Павел жил тогда с другим вакхантом, по имени Ахацием, а мы с товарищем моим Гильдебрандом должны были им презентовать. Но товарищ мой поедал почти все: так они его выслеживали на улице, чтобы накрыть его с поличным, или заставляли его полоскать рот водой и выплевывать воду на блюдо, чтобы им видно было, не съел ли он чего. Тогда они кидали его на постель, подушку на голову, чтобы он не мог кричать, и принимались вдвоем варварски истязать его, пока сами не выбивались из сил. Оттого-то я и трусил и приносил домой все подаяния. А у них иногда набиралось столько хлеба, что он начинал плесневеть; тогда они обрезали плесень и давали нам ее есть. Много я там голодал, много я там мерз, бродя иной раз до полуночи в темноте по городу и распевая из-за кусочка хлеба. Но грех было мне здесь промолчать и не упомянуть, как в Ульме жила одна добрая вдова с двумя взрослыми дочерьми, еще незамужними, и с сыном (его звали Павел Релинг), тоже еще неженатым. Когда я приходил к ее дому, она часто брала

меня к себе, завертывала мне ноги в теплый мех, прямо с печки, чтобы их согреть, давала мне блюдо каши и потом отпускала меня домой. Иногда у меня был такой голод, что я отбивал на улице у собак полуобглоданные кости, а когда приходилось бывать в школе, я разыскивал на полу в щелях крошки и их поедал. Оттуда мы пошли опять в Мюнхен, и там мне снова пришлось собирать денег на шитье того же сукна: хоть бы оно по крайности было мое!

Через год зашли мы опять в Ульм, собираясь еще раз на побывку домой. Я опять стал таскаться с своим сукном. И помню я, как иные мне говорили: «Что за пропасть! Кафтан твой все еще не сшит? Сдается мне, парень, что ты чистый прохвост». Так мы оттуда и ушли. Я и не знаю, что случилось с сукном: пошло оно наконец на кафтан или нет.

Сходили мы еще раз домой и оттуда опять пошли в Мюнхен.

В Мюнхен мы пришли в воскресенье. Там вакханты для себя нашли пристанище, а для нас троих, маленьких стрелков, нет. Как дело пошло к ночи, мы решили пробраться на хлебный рынок и улечься там на мешках. А у соляного склада на улице сидело несколько баб. Они нас спросили, куда мы идем. Мы им сказали, что нам негде ночевать. Одна из них, мясничиха, услышав, что мы швейцарцы, сказала служанке: «Беги домой, разведи огонь, да повесь на него котелок с супом и мясом, что у нас осталось: ребята будут у меня эту ночь ночевать. Я люблю швейцарцев. Когда я была молода, я служила в одном доме в Инсбруке, когда император Максимилиан жил там со своим двором; у него с швейцарцами было много дел, и они к нам были так ласковы, что я им этого по гроб жизни не забуду». Она накормила и напоила нас досыта и уложила у себя спать. Утром она нам сказала: «Если один из вас хочет у меня остаться, я его к себе приму, буду кормить и поить». Мы все хотели остаться и сказали ей, чтобы она сама выбирала. Когда она стала осматривать, так я был посмелей прочих – мне больше их приходилось всяких видов видать, – она меня к себе и взяла. У нее мне работы было немного; надо было только носить из погреба пиво, подавать в лавке кожи и мясо, да ходить с хозяйкой на поле; но мне по-прежнему приходилось презентовать своему вакханту. Хозяйке это было не по сердцу, и она мне говорила: «Что за напасть! Да брось ты своего вакханта и живи у меня; нечего тебе больше христарадничать». Вот я раз целую неделю и не показывал глаз ни к вакханту, ни в школу. Тогда вакхант сам явился и постучался к хозяйке в дверь. Хозяйка мне и говорит: «Твой вакхант! Скажись больным!» Потом она егопустила и говорит ему: «Вы, конечно, важный барин, а все ж можно бы было вам зайти проведать, что с Фомой творится. Он был у нас болен, да и теперь еще плох». Вакхант мне говорит: «Жаль мне тебя, парнишка, но смотри, как станешь выходить, являйся ко мне».

Немного погодя, в воскресенье, пошел я к вечерне. Когда служба отошла, вакхант ко мне подошел и говорит: «Ты, стрелок, ко мне вовсе глаз не кажешь. Смотри: все ребра переломая!» Тогда я решил, что уж будет с него мне ребра ломать, и задумал удрать.

В понедельник сказал я своей мясничихе: «Я пойду в школу, а оттуда на речку рубаху стирать». Не посмел я ей открыть, что было у меня на уме; боялся я, как бы она меня не выдала. Итак, с грустью в сердце тронулся я из Мюнхена. Горько было мне расставаться с моим братом – немало мы с ним вместе побродили по белому свету – но уж очень он был ко мне жесток и безжалостен. Жалел я тоже и свою мясничиху: так она была ко мне приветлива и ласкова. Итак, я перебрался за Изар: по швейцарской дороге я боялся идти, чтобы Павел меня не нагнал. А то он не раз грозился и мне и другим: «Коли кто из вас вздумает от меня удрать, я пойду за ним вдогонку и где поймаю, тут же изорву в мелкие клочья».

За Изаром есть холм. Там я уселся, стал смотреть на город и горько плакать, что нет у меня больше никого на свете, кто мог бы принять во мне участие. Я решил пойти в Зальцбург или в Вену, в Австрии. Когда я там сидел, едет мимо меня мужик на повозке. Он возил соль в Мюнхен и был уже пьян, даром что солнышко только что встало.

Я попросил его, чтобы он меня подвез. С ним я ехал, пока он не остановился кормить лошадей и самому закусить. Тем временем я обошел деревню за милостыней, потом вышел за

околицу, стал его там поджидать, да и заснул. Проснувшись, я снова принялся от всего сердца плакать: я думал, что мужик уже проехал, и так мне это было горько, как будто я родного отца потерял. Но он тут и подъехал, совсем уж пьяный, опять меня посадил и спросил, куда мне надо. Я сказал: «В Зальцбург». Под самый под вечер он свернул с дороги и сказал мне: «Ну, слезай, вот тебе дорога на Зальцбург». За день проехали мы восемь миль; ночевал я в одной деревушке.

Утром, когда я встал, все было покрыто инеем, как будто снег выпал. А на мне не было сапог, одни рваные чулки, и на голове шапки не было, а на теле одна куртка в обтяжку.

Так я пошел в Пассау; оттуда я думал пуститься по Дунаю в Вену. Но когда я пришел в Пассау, то меня туда не впустили. Тогда я решил идти в Швейцарию и спросил у привратника, как мне всего ближе туда пройти. Он сказал: «На Мюнхен». Я отвечал: «На Мюнхен я не хочу; я лучше дам крюку десять миль или того больше». Тогда он посоветовал мне идти на Фрейзинг; там тоже есть университет.

Во Фрейзинге нашел я швейцарцев, и они спросили меня, откуда я явился. Не прошло двух или трех дней, пришел туда Павел с алебардой. Стрелки мне сказали: «Твой вакхант из Мюнхена здесь и тебя ищет». Тогда я пустился за ворота, как будто он уж гнался за мной по пятам, пошел в Ульм и пришел к моей вдове, той самой, что прежде, бывало, грела мне ноги в меху. Она меня к себе приняла; я должен был у нее стеречь репу на поле. Так я и жил и совсем не ходил в школу.

Через несколько недель пришел ко мне один из старых товарищей Павла и говорит: «Брат твой Павел здесь и тебя ищет». Выходит, что он прошел за мной вдогонку 18 миль. Да и немудрено: ведь он потерял во мне хорошее приходское место; я совсем его прокармливал несколько лет. Но как только я это услышал, даром что на дворе была почти ночь, я пустился за городские ворота к Констанцу и опять горько рыдал: очень уж жаль мне было моей милой хозяйки.

Когда я подходил к Мерсбургу, я повстречал одного каменщика родом из Тургау. На дороге нам попался один молодой мужик. Каменщик мне говорит: «Мужик должен отдать нам свои деньги». Потом он на него закричал: «Мужик! деньги подавай или сто тысяч чертей» и т. д. Мужик струсил, да и мне стало жутко: дорого бы я дал, чтобы меня там не было. Мужик полез в карман за кошельком, а каменщик ему говорит: «Бог с тобой; я ведь так это только пошутил».

Итак, я переправился за озеро в Констанц. Когда я, проходя по мосту, увидел несколько швейцарских мужичков в белых куртках, то, Боже мой, что это была мне за радость! Мне казалось, что я попал в царство небесное.

Пришел я в Цюрих. Там были земляки из Валлиса, большие вакханты; я вызвался им презентовать, а они должны были за это меня учить; но они так же меня учили, как и прежние. Тогда в Цюрихе был кардинал и уговаривал цюрихцев идти с ним к папе; но на деле-то он больше хлопотал о Милане, как это потом оказалось.

Через несколько месяцев Павел прислал туда из Мюнхена своего стрелка Гильдебранда и звал меня к себе назад, обещаясь простить. Но я не захотел и остался в Цюрихе. Только учиться мне и там не приходилось.

Там был один земляк из Валлиса, из Фиспа: звался он Антоний Венец. Он стал меня подговаривать пробраться с ним вместе в Страсбург. Когда мы пришли в Страсбург, то там оказалось множество бедных школьников, а школы хорошей, как нам сказали, не было; за то в Шлетштадте, говорили нам, очень уж хороша школа. Пошли мы в Шлетштадт. По дороге встретился нам один дворянин и спросил нас: «Вы куда?» Услыхав, что мы пробираемся в Шлетштадт, он нам отсоветовал это. «Там, – говорил он, – бедных школьников без конца, а богатых людей совсем нет». Тогда мой товарищ принялся горько рыдать: «Куда ж нам теперь деваться?» Я его стал утешать и сказал: «Не унывай! Если в Шлетштадте есть только, с чего одному прокормиться, так я прокормлю нас обоих». Когда мы за милю до Шлетштадта завернули в одну деревню, то там мне сделалось дурно; у меня совсем дух захватило, и мне казалось,

что я так и задохнусь; а я объелся зеленых орехов – они тогда падали. Тут мой товарищ опять принялся рыдать; он думал, что потеряет своего товарища, и совсем не знал, что ему тогда одному делать. А у него еще было с собой 10 крон, у меня же не было ни полушки!

Придя в город, мы поместились у одних старичков: муж был слепой и ходил с палочкой. Потом мы отправились в школу к моему дорогому покойному господину учителю Йоханну Сапиду и стали его просить, чтобы он нами занялся²¹¹. Он нас спросил, откуда мы. Когда мы сказали: «Из Швейцарии, из Валлиса», – он говорит: «Там живут зlostные мужики: выгоняют от себя всех епископов. А с вами вот как будет: если вы станете здорово работать, то я с вас ничего не буду брать, а если нет, так я сниму с вас себе в уплату даже последнюю рубашонку». Это была первая школа, где, как мне показалось, дело шло как следует.

То было время, когда расцветали науки и языки: в этот самый год был в Вормсе рейхстаг. У Сапида раз набралось до 900 учеников: между ними были тонко образованные люди. Там был тогда д-р Иероним Гемузей, д-р Йоханн Худер и еще много других, из коих некоторые стали впоследствии профессорами и известными людьми.

²¹¹ Иоганн Витц (Johann Witz, 1490–1561), в гуманистическом крещении Sapidus, был одним из самых видных педагогов первой половины XVI в. Приглашенный занять место ректора школы в своем родном городке Шлетштадте, он принес этой школе громкую славу. Реформация встретила в нем одного из самых горячих поборников. Благодаря этому в 1525 г. ему пришлось покинуть Шлетштадт и перенести свою деятельность в Страсбург.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.